

☼
СТЕФАН
ЦВЕЙГ

· В р е м я ·





Stefan Zweig
JOSEPH FOUCHÉ
Обложка работы
М. А. Кирнарского

1932

*Ленинградский Гортит № 34626. Изд. № 4. 15000 экз. Стат. ф. 32¹/₈×116.
4 бл. 114626 п/ан. в 1 бл. Отв. ред. Я. Г. Раскин. Техн. ред. Г. П. Блок.
Сдано в набор 8 февр. 1932 г. Подп. к печати 16—22 февр. 1932 г. Заказ № 2193.
ю-я типография ОГНЗ'а ил. Евг. Соколовой, Ленинград, пр. Кр. Коминд., 29.*

СТЕФАН ЦВЕЙГ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СТЕФАНА ЦВЕЙГА

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
М. ГОРЬКОГО

И КРИТИКО-БИОГРАФИ-
ЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ
РИХАРДА ШПЕХТА

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ
IX

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
ЛЕНИНГРАД

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Ж О З Е Ф Ф У Ш Е

ПОРТРЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ

П Е Р Е В О Д
П. С. БЕРНШТЕЙН

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Б. М. РЙХЕНБАУМА

С 4 РИСУНКАМИ НА
ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
ЛЕНИНГРАД

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

«Жозеф Фуше» Ст. Цвейга, — портрет политического деятеля, как сам автор определяет свою книгу, — явление жанра, весьма популярного в современной буржуазной литературе, затрагивающего резкие грани различия «искусства» и «науки».

От науки, от истории в «Жозефе Фуше» — «герой» и все персонажи, социально-политический и бытовой фон их деятельности, точная датировка фактов, внесенных в биографию, связь действий и лиц с определенными географическими пунктами, включение в изложение и речи действующих лиц исторических «документов», которые должны сообщить произведению искусства максимальную убедительность строго-научной работы. Правда, «документ» в произведениях такого жанра — и у Цвейга также — берется из вторых и третьих рук, с установкой на его исключительность и анекдотичность, историческая «точность» строится преимущественно на памятниках прошлого, якобы непосредственно отражающих реальную действительность (мемуары, частная переписка, апокрифические изречения замечательных современников и т. п.). Но и такая «документация» придает работам подобного порядка известную долю убедительности для буржуазного читателя, нередко черпающего сведения по истории из «исторических» романов.

От искусства, от художественной литературы в произведениях этого жанра — самый выбор исторического персонажа, «героя» произведения, мера и формы его индивидуализации как психологически и социально-исторически значимой особы, от искусства — образная конкретизация исторического процесса, способ раскрытия внутренних побуждений, движущих волю «героя», свобода отбора и сочетания кусков исторической действительности.

Разумеется, поскольку абсолютного и раз навсегда данного разграничения между наукой и искусством мы не можем и не должны проводить, и в данном случае наши указания на «историческое» и «художественное» начало в «Жозефе Фуше» Цвейга только условны и относительны. В научном изложении всегда есть нечто от искусства, высокого или дурного, и в художественном произведении — от науки, истинной или ложной. Железную логику «Капитала» Маркса, непревзойденную научность речей Ленина мы воспринимаем и в «эстетическом» плане; как показания «научного» исторического трактата перечитываем мы многие страницы романов Бальзака.

Отнесение биографии Фуше к художественной литературе обусловлено методом создания произведения. «творческими» установ-

камп автора, задачами художественно-публицистического порядка. Отправным моментом в создании Цвейгом своеобразной апологии беспринципности является «психологическая любовательность» и желание «сделать вклад в биологию дипломатов». Исторический материал не вяжет Цвейга, а лишь дает ему как художнику возможность широкой и аргументированной демонстрации его чисто «психологических» наблюдений и выводов.

Для буржуазной литературы 'эпохи распада капиталистической культуры жанр исторического романа, исторического портрета характерен в той же мере, как и для литературы всякого когда-то мощного класса, уходящего в небытие перед лицом нового класса и в борьбе с ним. Так, в конкретном своеобразии своей эпохи, исторические романы создают феодальное дворянство на закате своей социально-экономической и культурной монополии. На материале прошлого, в экзотической дистанции времени, в завуалированном виде, на языке искусства оно ставит и разрешает проблемы современности, пытается на новых путях закрепить свое право на исключительное положение в общественной жизни.

Социальной современностью николаевской эпохи насквозь пропитаны превосходно сделанные «исторические» произведения Пушкина, потому и выполнявшие превосходно свою социальную функцию до ликвидации абсолютизма. Скверно переведены на язык «истории» лозунги дворянско-купеческой романовской монархии в «Юрии Милославском» Загоскина, боярской империи — в «Князе Серебряном» Ал. Толстого. Романы Вальтер-Скотта в Англии, Ф. Дона в Германии доказывали буржуазии необходимость сохранения «рыцарского» начала в капиталистическом обществе XIX века. «Историческим» романом («Собор Парижской Богоматери») В. Гюго, редактор и редактор легитимистского журнала «Le Conservateur Littéraire» (1819—1820 гг.), ликвидирует в 1831 г. традиции своего феодального романтизма, все же и в дальнейшем творчестве сохраняя от него тоску по средневековой «простоте» и «несложности» социальных отношений.

Не случайно, разумеется, в пооктябрьской литературе вопрос о судьбах «сплошного», народничски воспринимаемого крестьянства ставился и художественно разрешался на историческом материале. И в «Степана Разина» В. Каменского и А. Чапыгина и в «Пугачева» Есенина вошла живая современность пролетарской революции. Вошла она как тоска по безнадежно ушедшему миру и в «исторические» романы и повести Ю. Тынянова, А. Н. Толстого и иных.

Цвейг понимает, — об этом говорит «предисловие» автора, — что «жизнеописание такой насквозь аморальной фигуры... как Ж. Фуше — не ко времени», он чувствует, что «героические биографии» «... в политическом отношении таят опасность искажения истории».

На каком пути он мог избежать этой опасности, даже и сохранив в качестве «героя» аморального Фуше? Только в том случае, если бы он подошел к своей теме как художник с точки зрения революционного пролетариата, если бы он развернул и показал движение личности в историческом процессе как материалист-диалектик.

Всякое иное изображение исторического прошлого неизбежно будет искажением исторической действительности, неизбежно будет протравлено настроениями и устремлениями реакционного порядка. Только в пору своего восхождения, в эпохи выражения в своей идеологии движущих сил исторического процесса буржуазия в науке и в искусстве могла подняться до некоторого приближения к объективному пониманию реальной действительности. Этим возможностям современная буржуазия не могла дать Цвейгу, а до пролетарского мировоззрения талантливому писателю пужно проделать еще длинный путь.

Цвейг вызывает тень великого буржуазного писателя-материалиста в своих творческих установках, заверяет, что Бальзак пробудил в нем интерес к исключительной личности Фуше. Действительно, в одном из своих многочисленных романов («Une ténébreuse affaire») Бальзак не только, как говорит Цвейг, посвятил «особую страницу» Фуше, но и органически включил его в художественную ткань своего произведения как действующее лицо. Но характерно, что в своей ссылке на Бальзака Цвейг так цитирует роман, что превращает Бальзака в своего предшественника-единомышленника по трактовке Фуше. Между тем текст романа «Une ténébreuse affaire» не дает оснований для такого сближения. Для Цвейга Фуше с начала и до конца своей деятельности — один и тот же, меняется обстановка, но не он, он только действует применительно к изменившейся действительности. У Бальзака Фуше дан в росте, в движении, в изменении. Бальзак недвусмысленно подчеркивает, что только со времен Директории, в сущности, пришло время для Фуше.¹

Бальзак, «доктор социальных наук» по выражению Маркса, писатель той эпохи, когда буржуазия еще смело смотрела в глаза будущему, строже относился к историческому «документу», чем его правнук и ученик в XX веке. Цвейг, без всяких к тому оснований, связал своего героя как видного деятеля с самыми яркими моментами Великой французской революции, — этой ошибки не сделал Бальзак. Цвейг сделал Фуше выразителем лучших передовых идей эпохи и тем самым пошел, в сущности, по стопам Тэна в развенчании великой буржуазной эры, дав представителем ее фигуру провокатора.

Вместо того чтобы вскрыть роль Фуше в провале заговора Бабефа, Цвейг едва не превращает его в бабувиста. В стремлении под

¹ Цвейг: «Этот незаметный член Конвента, один из самых замечательных и вместе с тем неправильно оцененных людей своей эпохи, только в критические моменты становился тем, чем был впоследствии. В эпоху Директории он поднялся на ту высоту, с которой» и т. д. Бальзак: «Cet obscur Conventionnel l'un des hommes les plus extraordinaires... se forma dans les tempêtes. Il s'éleva sous le Directoire à la hauteur» и т. д. (См. Oeuvres complètes de Balzac. Paris, 1846, XII v., p. 27.) У Ст. Цвейга исчез презрительный оттенок «незаметности», который несет в себе слово *obscur* (темный, подозрительный); вместо «экстраординарной» личности у него появляется «самая замечательная» и совершенно исчезло указание на формирование характера Фуше «в бурях» революции. У меня вот под руками оригинального текста «Жозефа Фуше», но по всему тону биографии чувствуется, что некоторое «приспособление» бальзаковского текста есть результат метода Цвейга, а не дружеская услуга русского переводчика. Об этом говорит и то, что вся длинная цитата из Бальзака дана с пропусками текста, который по-видимому, чем это мы видим у Цвейга, рисует отношения между Наполеоном и Фуше после 18 брюмера.

зять своего героя на исключительную высоту, Цвейг, попринужденно «модернизируя факты и документы французской революции, договаривается до фантастических утверждений, что Фуше составил «смелую радикально-социалистическую, большевистскую (!— В. Д.) программу», что лионская «Инструкция» «заставляет считать Фуше первым социалистом и коммунистом революции», что «не Марат, не Шомет», а Фуше «формулировал самые смелые требования французской революции», что Робеспьер был представителем «среднего, осторожного социализма» (!— В. Д.), а Фуше «коммунизма (!— В. Д.) и атеизма».

Эти наивные, с ветру буржуазной реакционной историографии взятые «революционные» суждения художника, который задумал асправить ошибку историков («в поверхностных работах имя Фуше даже не упоминается», скорбит Цвейг), стоят на уровне его философии, его понимания исторического процесса, движущих сил революции. Вот, например, как преломляется в сознании Цвейга борьба «кобищев с жирондистами: «Если победят радикалы, они ринутся в глубины и водовороты анархии». Эпоха террора дает Цвейгу основания разразиться lamentациями по поводу «опьянения» французских революционеров «запахом крови»; он не в состоянии понять, почему Робеспьер, «поставивший свою подпись под тысячу революционных декретов, за два года до этого в Национальном Собрании вставал против смертной казни и клеймил войну как преступление», ибо для него Робеспьер только «добронравный тигр», а не вождь революционной мелкой буржуазии, отразивший в своих словах в действительных движущих противоречия великой исторической эпохи.

В истории, по Цвейгу, нет действия масс, ее творят исключительные личности. «Народ — нестройные батальоны мятежников, всегда вызываемые остающимися во тьме террористами, чтобы вызвать его или иные политические решения», ... «когда нужно прорвать плотину законов». Политическая честность, классовый идеализм являются исторически ценными, ибо «кристально-чистые идеалисты... своей верой и своим идеализмом навлекают больше невзгод (на «толпы рабочих и безработных») и вызывают больше кровопролития, чем самые грубые реалисты-политики и самые свирепые террористы». В истории нет сознания, действуют «страсти», «жуткие роковые инстинкты». Эти «страсти» определили ход событий не только буржуазной французской революции, но и русской пролетарской революции XX века. По философии Цвейга, не железная воля рабочих и революционных крестьян, не организаторское напряжение и блестящее руководство коммунистической партии обеспечили Советской республике победу в ее борьбе с Врангелем, Деникиным, Колчаком, с «англичанами и наемниками всего мира», а «неистовый порыв отчаяния, ... нелогичная бешеная страстность».

В истории, которую пишет Цвейг, нет движения масс, нет борьбы классов; историю делают лица, вожди слепых «мятежников».

Так создается для художника возможность вознесения своего «героя» на недостижимую высоту. Отсюда — драматические моменты исторического процесса, победы и поражения борющихся общественных классов превращаются под пером Цвейга в театральные «единки между отдельными «замечательными» моральными и аморальными

важными личностями. Идет напряженная подготовка заговора герцога Анжуйского, назревает трагический переломный момент революции, — и Цвейг пишет: «Поединок между Робеспьером и Фуше начался». Становление наполеоновской империи для художника — соотношение Фуше и Наполеона в хитрости, остроумии и взаимном недоверии; борьба за реставрацию монархии Бурбонов — фехтование на словесных рапирах Талейрана и Фуше, причем судьбу Фуше решает тень казненного Людовика XVI, его дочь герцогиня Анжуйская.

Даже смерть ребенка, смерть жены «героя», оказывается, в гораздо большей мере влияют на ход истории, чем движения масс. Ибо события семейного порядка повышают или понижают «страстность» гворцов истории, исключительных личностей, ибо всегда «подлиннее властные натуры на самом деле распоряжались судьбой мира».

Давая простор своей «психологической любознательности» в изображении Фуше, предостерегая читателей «от доверия к политике», Цвейг, нет сомнения, думал, что он этим повышает революционному сознательности масс. Но, оставаясь художником-идеалистом, мелкобуржуазным носителем индивидуалистических тенденций, в силу шорочности своего художественного метода, он все громадное напряжение большого таланта посвятил доказательству ошибочной и реакционной мысли, что «в реальной, в действительной жизни ... решение вопросов всемирного значения ... исходит не от разума и сознания ответственности, а от людей, скрывающихся за кулисами, людей сомнительного достоинства и невысокого ума. Поверхностность является только, а не их сущность отразилась в ограниченном сознании индивидуалиста-психолога, разорванном противоречиями капиталистической действительности. За движением лиц он не смог разглядеть движения масс, в «людях ... невысокого ума» он не сумел распознать идеологов тех классов, выразителями интересов которых они являются.

Поэтому и созданный Цвейгом Фуше, поднятый на высоту исключительности и психологической значимости, превращенный в величайшего деятеля великой исторической эпохи, неожиданно, надо полагать, и для самого автора воспринимается нашим сознанием не как историческая личность, а как порождение нашей социально-политической современности. Такого «великого» Фуше, какой глядит из глаз со страниц «биографии» Цвейга, не знала и не знает история. Но «Фуше» — беспринципный интриган, провокатор и предатель, не стесняющийся никакими средствами политиканской интриги. фашистский мастер-делатель монархий и республик, верный слуга реакционной буржуазии, воспринимаемый и чувствуемый ею, как «великий исторический делатель» — типичная и колоритная фигура наших дней.

Богатейшую пищу «психологической любознательности» талантливому художнику могли бы дать современные Фуше — «монархист» Муссолини, «республиканец» Пилсудский. Жизнь и деятельность этих «героев» современности богата и драматическими эпизодами. и психологическими «загадками», и моментами предательства, провокации и измены; и их психология так же художественно «освещена», как не освещенной оставалась, по мнению Цвейга, до его биографии и психология Фуше.

Если бы Цвейг избрал для своего «портрета политического деятеля» живую натуру, он, при своих несомненных симпатиях к революции и ненависти к людям «сомнительного достоинства и невысокого ума», надо полагать, легко нашел бы убедительные слова для морально-политической квалификации «героев» современной буржуазной действительности. Но его Фуше, как «великий» политический деятель, дан в туманной экзотике времени. В результате и получилась неожиданная апология беспринципности и предательства. Ибо и предатель, оказывается, может быть «одним из самых замечательных людей всех времен», ибо и Фуше, в пору растерянности мелкобуржуазной интеллигенции перед лицом величайших событий человеческой истории, нашел себе пламенного певца и талантливый биограф.

В. Десницкий

ПРЕДИСЛОВИЕ

Жозеф Фуше, один из могущественнейших людей своего времени, один из самых замечательных людей всех времен, был мало любим современниками и еще менее того был оценен потомками. Наполеон на острове Св. Елены, якобинец Робеспьер, Карно, Баррас, Талейран в своих мемуарах, все французские историки в своих трудах — будь они роялисты, республиканцы или бонапартисты — начинают писать желчью, как только доходят до его имени. Предатель по натуре, жалкий интриган, пресмыкающийся льстец, профессиональный перебежчик, подлая полицейская душонка, презренный безнравственный человек, — нет гнусного эпитета, которым бы его не наградили: ни Ламартин, ни Мишле, ни Луи Блан не делают серьезной попытки изучить его характер или, вернее, упорное, достойное удивления отсутствие характера. Подлинные очертания его облика встают впервые в монументальной биографии Луи Мадлена (которой эта, как и многие другие характеристики, обязана большой долей фактического материала); история же до сих пор совершенно спокойно отодвигала этого человека в задние ряды незначительных статистов — человека, руководившего в эпоху мирового переворота всеми партиями и единственного их пережившего, человека, победившего в психологическом поединке таких людей, как Наполеон и Робеспьер. Иногда его образ мелькает в пьесе или оперетке из наполеоновской эпохи, большею частью в затасканной схематической маске хитрого министра полиции, предтечи Шерлока Холмса; при плоском изображении роль заднего плана всегда смешивается с ролью второстепенного значения.

Только один человек увидел все своеобразное вели-

Чье этой единственной в своем роде фигуры, и притом человек незаурядный: Бальзак. Этот большой и вместе с тем проникательный ум, не скользивший по видимой поверхности эпохи, а заглядывавший за кулисы, откровенно признал Фуше самым интересным в психологическом отношении типом своего века. Привыкший рассматривать в своей химии чувств все страсти, как бы они ни назывались, — героическими или низменными, — как совершенно равноценные элементы, подходить к закоренелому преступнику, к низкому негодяю с той же почтительностью, что и к гению нравственности, вроде Луи Ламбера, никогда не делая различия между моральным и аморальным, всегда взвешивая только волевою ценностью человека и напряженность его страсти, Бальзак заметил и вывел на свет из нарочно созданной тени именно эту, самую презренную, самую заплеванную фигуру эпохи революции и империи.

«Единственным настоящим министром Наполеона» называет он этого «*singulier génie*»,¹ потом — «*la plus forte tête, que je connaisse*»,² в другом месте — «одной из тех личностей, у которых под поверхностью скрыта такая глубина, что они остаются непроницаемыми для своей эпохи и могут быть поняты только впоследствии». Это совсем не похоже на моралистические презрительные отзывы историков. И в своем романе «*Une ténébreuse affaire*» он посвящает этому «сумеречному, глубокому, необычайному, не постигнутому уму» особую страницу: «Его своеобразный гений, — пишет он, — вызывавший некоторый страх у Наполеона, обнаружился не сразу. Этот незаметный член Конвента, один из самых замечательных и вместе с тем неправильно оцененных людей своей эпохи, только в критические мгновения становился тем, чем был впоследствии. В эпоху Директории он поднялся на ту высоту, с которой люди глубокого ума предугадывают будущее, правильно оценивая прошлое; потом, подобно иным посредственным актерам, которые под влиянием вдохновения способны создавать превосходные образы, он во время государственного переворота 18 брюмера вне-

¹ Своеобразного гения.

² Самым умным человеком, которого я знаю.

запно дал доказательства своей ловкости. Этот человек с бледным лицом, воспитанный в монастырской дисциплине, знавший все тайны «Горы», к которой он сперва принадлежал, и роялистов, к которым он в конце концов перешел, медленно и молчаливо изучал людей, аксессуары и приемы политической арены; он угадывал тайны Бонапарта, давал ему полезные советы и драгоценные сведения; ... ни новые, ни прежние товарищи не подозревали в ту пору размаха его гения, — в сущности подлинного государственного гения, меткого в предсказаниях и исключительно проникательного». Так говорит Бальзак. Его похвалы привлекли мое внимание к Фуше, и много лет я не упускал случая следить за человеком, которым восхищался Бальзак, говоря, что «он имел большую власть над людьми, чем сам Наполеон». Но Фуше как в жизни, так и в истории умел оставаться на заднем плане: он не легко позволял заглянуть себе в глаза и в карты. Почти всегда он в центре событий, в центре партии; он незримо действует под анонимным покровом своей должности, скрытый как механизм в часах; лишь изредка удается в смятении событий, на самых острых поворотах его пути уловить его мимолетный мелькающий профиль. И вот что еще странно. На первый взгляд ни один из этих схваченных на лету профилей Фуше не похож на другой. С некоторым трудом представляешь себе, что тот же самый человек, с той же кожей и с теми же волосами, был в 1790 году учителем монастырской школы, в 1792 г. уже реквизировал церковное имущество, в 1793 г. был коммунистом, еще через пять лет миллионером и через десять лет герцогом Отрантским. Но чем отважнее становился он в своих превращениях, тем интереснее был для меня характер или, вернее, бесхарактерность этого совершеннейшего макиавеллиста нового времени, тем замечательнее его скрытая на заднем плане и окутанная тайной политическая жизнь, тем своеобразнее, демоничнее — его образ. Так совершенно неожиданно, из чисто психологической любознательности, взялся я писать историю Жозефа Фуше, надеясь этим сделать вклад в еще не существующую и в то же время совершенно необходимую биологию дипломатов, этой еще почти неисследованной, опаснейшей духовной расы современности.

Жизнеописание такой насквозь аморальной природы, хотя бы и такой своеобразной и значительной как Жозеф Фуше, — я сознаю это, — не ко времени. Наша эпоха требует и любит героические биографии; недостаток творческих натур среди политических вождей заставляет искать их в прошлом. Я вовсе не умаляю вдохновляющего, укрепляющего, возвышающего влияния героических биографий. Они со времени Плутарха необходимы для каждого подрастающего поколения и юношества всех эпох. Но как раз в политическом отношении они таят опасность искажения истории, внушая, что в то время, да и во все времена, подлинно властные натуры на самом деле распоряжались судьбой мира. Без сомнения, героическая натура уже самым фактом своего существования владичествует десятки и сотни лет над духовной жизнью людей, но только над духовной жизнью. В реальной, в действительной жизни, в сфере политики и власти решающее значение имеют — и это необходимо подчеркнуть, чтобы предостеречь от доверия к политике — не выдающиеся умы, не чисто идейные люди, а гораздо более ничтожная, но более ловкая порода: фигуры, стоящие на заднем плане. В 1914 и в 1918 гг. мы были свидетелями того, как решение вопросов всемирного значения, вопросов войны и мира, исходило не от разума и сознания ответственности, а от людей, скрывавшихся за кулисами, людей сомнительного достоинства и невысокого ума. И ежедневно мы снова убеждаемся, что в неверной и часто коварной политической игре, которой народы все еще верноподданно доверяют своих детей и свою будущность, верховодят не нравственно дальновидные люди, не люди непоколебимых убеждений, а профессиональные азартные игроки, которых мы называем дипломатами, эти мастера ловкости рук, пусторечия и хладнокровия. Если же в самом деле, как сто лет тому назад сказал Наполеон, политика стала «la fatalité moderne», современным роком, то мы, в целях самообороны, попытаемся разглядеть за этой силой людей и тем самым — понять опасную тайну их могущества. Пусть предлагаемая биография Жозефа Фуше будет вкладом в типологию политического деятеля.

Зальцбург
Осень 1929

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВЗЛЕТ

1759 — 1793

31 мая 1759 года Жозеф Фуше — еще далеко не герцог Отрантский! — родился в портовом городе Нанте. Родители его — моряки, коммрсанты; моряки и его предки; казалось поэтому само собой разумеющимся, что и наследник их будет мореплавателем, негодантом или капитаном. Но уже в ранние годы обнаруживается, что этот худой, высокий, малокровный, нервный, некрасивый мальчик не приспособлен к такой тяжелой, а в ту пору даже еще героической профессии. Стоит ему на две мили отдалиться от берега — и он начинает страдать морской болезнью, стоит ему четверть часа побегать или порезвиться с товарищами — и он устает. Что предпринять с такой нежной натурой, — озабоченно спрашивают себя родители, ибо в 1770 году духовно пробудившаяся и нетерпеливо пробивающая себе дорогу буржуазия еще не завоевала себе во Франции надлежащего места. В судах, в учреждениях, в каждом служебном назначении самые жирные куски достаются дворянству; для придворной службы нужен графский герб или крупное поместье; даже в армии посевший на службе буржуа не двигается дальше капральского чина. Третье сословие еще никуда не допускается в плохо управляемом, исковерканном королевстве; неудивительно, что оно четверть века спустя кулаками добивается того, в чем ему слишком долго отказывали, пока оно покорно протягивало руку.

Остается только церковь. Эта тысячелетняя держава,

бесконечно превосходящая все династии в понимании мирских дел, рассуждает умнее, демократичнее и шире. Она всегда находит место для способных и даже смердов принимает в свое незримое царство. Так как Жозеф, уже мальчиком, на школьной скамье ораторианцев¹ отличается прилежанием, они охотно предоставляют ему, когда он заканчивает образование, кафедру преподавателя математики и физики, должность надзирателя и инспектора школ. Едва достигнув 20 лет, он получает в этом ордене, руководящем со времени изгнания иезуитов католическим воспитанием по всей Франции, должность, правда, жалкую, без особых надежд и видов на повышение, но все же в школе, где он сам является школьником, где обучая, он учится.

Он мог бы пойти дальше, стать патером, быть может, когда-нибудь даже епископом или кардиналом, если бы дал монашеский обет. Но для Жозефа Фуше типично, что уже на первой, низшей ступени карьеры обнаруживается характерная черта его натуры — нежелание бесповоротно, всецело связать себя с кем-нибудь или с чем-нибудь. Он носит священническое облачение и тонзуру, он разделяет монастырский режим с остальными патерами, он в течение десяти лет своей деятельности у ораторианцев ничем не отличается от священнослужителя, ни во вне, ни внутри. Но он не принимает пострижения, не дает обета. Как всегда, во всех положениях, он не закрывает путей к возврату, сохраняет возможность преобразования и превращения. И церкви он отдается лишь временно, не целиком, так же, как впоследствии — революции, директории, консульству, империи или королевству; даже богу, а тем более человеку, не дает Жозеф Фуше обета верности на всю жизнь.

Десять долгих лет, от двадцатого до тридцатого года жизни, бродит этот бледный необщительный полусвященник по монастырским коридорам и тихим трапезным. Он преподает в Ниоре, Сомюре, Вандоме, Париже, едва ощущая перемену места, ибо жизнь монастырского учителя протекает одинаково тихо, бедно и незаметно во всех городах, — всегда за немymi стенами, в стороне от жизни.

¹ Католический монашеский орден. *Прим. перев.*

Двадцать, тридцать, сорок школьников, обучаемых латыни, математике и физике, бледные, одетые в черное одеяние мальчики, которых водят к обедне и стерегут в дортуаре, — чтение научных книг в одиночестве, скудные трапезы, жалкое вознаграждение, черное поношенное платье, тихое монашеское существование. Словно в оцепенении, в бездействии, вне времени и пространства, бесследно, бесстрастно прошли эти десять тихих, затененных лет.

Однако, эти десять лет монастырской школы научили Жозефа Фуше вещам, оказавшимся полезными для будущего дипломата, — главным образом технике молчания, искусству скрывать, мастерству познания душевного мира и психологии. Тем, что всю жизнь, даже в минуты страстных порывов, он владеет каждым нервом своего лица, тем, что никогда не удастся обнаружить признаков гнева, озлобления, волнения в его неподвижном, словно окаменевшем в молчании лице, что он одинаково беззвучным голосом спокойно произносит самые обыденные и самые ужасные слова, и одинаково бесшумными шагами проходит в покои императора и в неистовствующее народное собрание, — этой бесподобной науке самообладания он обязан годам пребывания в монастырских трапезных; еще задолго до появления на подмостках мировой сцены его воля дисциплинирована упражнениями Лойолы и его речь отшлифована тысячелетним искусством проповедей и религиозных дискуссий. Быть может не случайно, все три великих дипломата французской революции — Талейран, Сийес и Фуше — вышли из монастырской школы мастерами жизненного искусства, задолго до появления на трибуне. Извечная, общая, стоящая над ними традиция кладет в решительные минуты отпечаток известного сходства на их обычно противоположные характеры. К тому же у Фуше проявляется железная, спартанская самодисциплина, отвращение к роскоши и блеску, умение скрывать личные переживания и чувства; нет, годы, проведенные Фуше в сумраке монастырских коридоров, не потеряны даром, он бесконечно многому научился, пока был учителем.

За монастырскими стенами, в самой строгой изоляции, воспитывается и развивается, приближаясь к психологическому мастерству, этот своеобразный, гибкий и беспокойный дух. Долгие годы он осужден незаметно работать

в тесном церковном кругу, но начавшийся во Франции уже в 1778 году социальный ураган проникает за пределы монастырских стен. В монашеских кельях ораторианцев спорят о человеческих правах не меньше, чем в масонских клубах, любопытство влечет молодое духовенство навстречу буржуазии, влечет преподавателя физики и математики к удивительным открытиям того времени, к Монгольфьерам, первым летательным машинам, к замечательным изобретениям в области электричества и медицины. Духовенство стремится к контакту с образованным обществом и находит его в Аррасе в совершенно особенном кружке, называемом «Розати», нечто вроде «Шлараффиа»,¹ — где интеллигенция города собирается для приятного времяпрепровождения. Нет ничего замечательного в этих собраниях, где невзрачные мелкие буржуа декламируют стихи или произносят речи на литературные темы, где военные смешиваются со штатскими и где охотно принимают монастырского учителя Жозефа Фуше, так как он может подробно рассказать о последних достижениях физики. Он часто проводит там время в товарищеском кругу и слушает, как, например, полковник инженерных войск Лазарь Карно² читает свои сатирические стихи, или бледный тонкогубый адвокат Максимилиан де Робеспьер (он тогда еще гордился своим дворянством) держит за столом цветистую речь в честь общества «Розати». Ибо в провинции еще наслаждаются последним дыханием философствующего восемнадцатого века: господин де Робеспьер вместо смертных приговоров спокойно пописывает изящные стишки, швейцарский врач Марат сочиняет не суровые коммунистические манифесты, а сладкий и сентиментальный роман, и маленький лейтенант Бонапарт где-то в провинции трудится над новеллой — подражанием Вертеру; грозы еще незримы за чертой горизонта.

Какая игра судьбы: именно с этим бледным, нервным, безудержно честолюбивым адвокатом де Робеспьером боль-

¹ «Шлараффиа» («Schlaraffia») — общественная организация, поставившая своей задачей развитие искусства и юмора на основе культуры дружбы. Первое собрание этого общества происходило в Праге в 1859. *Прим. перев.*

² Впоследствии видный деятель революции, президент Директории и министр Наполеона. *Прим. перев.*

ше всего подружился монах-учитель; им как будто бы предстоит даже породниться, ибо Шарлотта Робеспьер, сестра Максимилиана, собирается отвлечь учителя ораторианцев от мысли о духовном сане, — посятся уже слухи об их помолвке. Отчего в конце концов не состоялся этот брак, остается тайной, но быть может здесь скрыт корень ужасной, имеющей всемирно-историческое значение ненависти между этими, некогда связанными узами дружбы людьми, вступившими впоследствии в борьбу не на жизнь, а на смерть. Но в ту пору они еще не знали ни о якобинцах, ни о ненависти. Напротив того: когда Максимилиана де Робеспьера посылают в Версаль депутатом в Генеральные штаты, чтобы принять участие в составлении проекта нового государственного строя Франции, монах Жозеф Фуше ссужает малокровного адвоката де Робеспьера деньгами на дорогу и на новый костюм. Характерно и то, что Фуше держит ему, как после многим другим, стремя, когда тот готовится к скачку в мировую историю, и то, что он в решительный момент предает своего прежнего друга и свергает его.

Скоро после отъезда Робеспьера на собрание Генеральных штатов, которое потрясло все основы Франции, ораторианцы в свою очередь устраивают маленькую революцию в Аррасе. Политика проникает в монастырские градезные, и умный Жозеф Фуше, предугадывающий всякую перемену ветра, развертывает паруса. По его предложению посылается депутация в Национальное собрание, чтобы выразить третьему сословию симпатии духовенства. Но обычно столь осторожный Фуше на этот раз несколько поторопился. Начальство переводит его в виде наказания, не решаясь впрочем наказать его серьезней, в Нант, туда, где он в юности учился наукам и искусству жить. Но теперь он опытен и зрел, его уже не привлекает перспектива преподавания отрокам таблицы умножения, геометрии и физики. По направлению ветра он угадал, что стране грозит социальный ураган, что политика властвует над миром; итак — с головой в политику! Одним движением он сбрасывает сутану, дает зарости тонзуре и произносит политические проповеди уже не школьникам, а честным нантским буржуа. Учреждается клуб, — карьера политических

деятели всегда начинается на такой пробной трибуне ораторского искусства, — и уже через несколько недель Фуше — президент общества «Amis de la constitution»¹ в Нанте. Он хвалит прогрессистов, но очень осторожно, ибо стрелка политического барометра в этом купеческом городе стоит на «умеренно»: в Нанте не любят радикализма, потому что опасаются за кредиты и прежде всего заботятся о хорошей торговле. Кроме того, там получают жирную прибыль от колоний и потому не сочувствуют фантастическим проектам, вроде освобождения рабов: поэтому Жозеф Фуше сочиняет патетическую декларацию против уничтожения торгового невольничества, что влечет, правда, за собой резкий выговор со стороны Бриссо, но не умаляет его значения в более тесных буржуазных кругах. Чтобы своевременно укрепить свою политическую позицию среди буржуазии (будущих избирателей), он торопится взять в жены дочь состоятельного купца — безобразную девицу, но с хорошим приданым: он стремится быстро и всецело стать буржуа в эпоху, когда — он это предвидит — третье сословие будет господствующим.

Все это — уже подготовка к определенной цели. Едва успели составить избирательные списки, как бывший монастырский преподаватель уже выставляет свою кандидатуру. Как поступает каждый кандидат? Он прежде всего сообщает своим добрым избирателям все, что они хотели бы слышать. Итак, Фуше клянется заботиться о торговле, защищать собственность, уважать законы; он гораздо многочисленнее обрушивается на мятежников (ибо ветер в Нанте справа сильнее, чем слева), чем на старый режим. И действительно anno 1792 его избирают депутатом Конвента, и трехцветная кокарда депутата заменяет спрятанную тонзуру.

Ко времени выборов Жозефу Фуше минуло 32 года. Его никак нельзя назвать красивым мужчиной. Худое, высохшее, почти бесплотное тело, узкое лицо с резкими углами, безобразное и неприятное. Острый нос, острые и тонкие, всегда сжатые губы, холодные рыбы глаза под тяжелыми сонными веками, серые кошачьи зрачки, похожие на круглые стекляшки. В этом лице, в этом человеке

¹ Друзей Конституции.

как бы не хватает жизненной материи: так выглядит человек при свете газа — блеклый, с зеленоватым оттенком. Нет блеска в глазах, нет чувственной силы в движениях, нет металла в голосе. Тонкие пряди волос, рыжеватые, еле заметные брови, пепельно-серые щеки. Кажется, что не хватило красок, чтобы оттенить здоровьем его лицо; этот крепкий, необычайно работоспособный человек всегда производит впечатление усталого, больного, немощного.

Каждому, кто смотрит на него, представляется, что в его жилах не течет горячая, красная, струящаяся кровь. В самом деле: он и душевно принадлежит к породе хладнокровных. Ему неведомы грубые завлекающие порывы страсти, его не влекут ни женщины, ни игра, он не пьет вина, не любит мотовства, не забавляется спортом; он живет в комнатах — среди актов и бумаг. Никогда он не приходит в ярость, никогда не трепещет ни один нерв в его лице. Лишь еле заметная улыбка, иногда вежливая, иногда насмешливая, итрает на этих острых бескровных губах; никто не заметит на этой глинисто-серой сонной маске признаков действительного волнения, никогда спрятанные под тяжелыми воспаленными веками глаза не выдадут его намерений или хода мыслей.

В этом непоколебимом хладнокровии — подлинная сила Фуше. Нервы не властны над ним, чувства его не соблазняют, заряды и разряды страстей свершаются за непропущаемой стеной его лба. Он маневрирует своей силой и горко следит при этом за ошибками других; он дает истощиться их запасу страстности и терпеливо ждет, пока они истощатся или, потеряв самообладание, не выдадут себя: тогда лишь он выступает, вооруженный своей неумолимостью. Ужасно это превосходство его равнодушного терпения: кто так умеет выжидать и скрывать, тот проведет и самого искушенного человека. Фуше служит спокойно; не моргнув глазом, с холодной улыбкой выслушивает он самые грубые оскорбления, переносит отвратительнейшие унижения; его хладнокровия не могут поколебать ни угрозы, ни гнев. Робеспьер и Наполеон — оба разбиваются об это каменное спокойствие, как волна о скалу; три смены, целое поколение бушует и разливается в страстных

порывах, а он хладнокровно и гордо стоит неподвижно, единственный среди них лишенный страстей.

В этом спокойствии крови — подлинный гений Фуше. Плоть не удерживает и не увлекает его, для него не существуют также никакие дерзкие порывы духа. Кровь, чувства, душа, все эти спутанные элементы переживаний живого человека не имеют никакой связи с этим скрытым азартным игроком, у которого страстность втиснута в мозг. Этот сухой кабинетный человек до порочности любит приключения, и его главная страсть — интрига. Но эту страсть он утоляет только игрой ума; нет маски, которая гениальнее и лучше скрыла бы его жуткое наслаждение смятением и кознями, чем спокойная внешность добросовестного и честного человека, которой он прикрывается всю жизнь. Прясть в своей комнате нити, скрытые за актами и ведомостями, нападать коварно, неожиданно и незаметно, — в этом его тактика. Нужно глубоко заглянуть в историю, чтобы в пламени революции, за легендарным сиянием Наполеона разглядеть его присутствие, на первый взгляд скромное и незаметное, а на самом деле оказывающееся действенным и определяющим эпоху. Всю жизнь он остается в тени, но зато три смены переживает хитроумный Одиссей, в то время как пали Патрокл, Гектор и Ахилл. Его талант перехитрил гения, его хладнокровие пережило все порывы страстей.

Утром 21 сентября члены нового Конвента вступают в зал. Уже не так торжественен, не так пышен прием, как три года тому назад на первом законодательном собрании. Тогда стояло еще посреди зала роскошное кресло, крытое шелком, расшитое большими лилиями, — место короля. Когда он вошел, все собрание, почтительно встав, приветствовало появление помазанника. Теперь его замки, Бастилия и Тюильри, разрушены, нет больше короля во Франции; тучный господин — Людовик Капе, как его называют грубые тюремные надзиратели и судьи, томится в качестве простого гражданина в Тампле¹ и ждет приговора. Вместо него теперь властвуют в стране 750 человек, поселившихся в его собственном доме. Позади председательского стола высится новая скрижаль с гигантскими

¹ Парижская тюрьма. *Прим. иерсв.*

буквами — текст конституции; стены зала украшены вещными символами — ликторским пучком розог и смертоносным топором.

На галереях собирается народ и с любопытством рассматривает своих представителей. Семьсот пятьдесят членов Конвента постепенно заполняют королевский дом; странная смесь всех сословий и профессий: бывшие адвокаты рядом с известными философами, беглые священнослужители рядом с заслуженными воинами, потерпевшие крушение авантюристы рядом с знаменитыми математиками и галантными поэтами; словно сильно встряхнули бутылку — так после революции поднялось на поверхность все прежде покоившееся на дне. Теперь настала пора разобраться в хаосе.

Размещение депутатов похоже на первую попытку водворить порядок. В амфитеатре, столь тесном, что лбами сталкиваются враждебные речи, внизу сидят спокойные осторожные депутаты, — «*magais*», — болото, как их смешливо называют, — сохраняющие умеренность во всех решениях. Бурные, нетерпеливые радикалы занимают места на верхних скамьях, на «горе», последние ряды которой прижимают к галерее, словно символизируя этим, что за их спиной стоят массы, народ, пролетариат.

Эти две силы не уступают друг другу. Между ними, в приливах и отливах, бушует революция. Для буржуазии, для умеренных создание республики уже завершено завоеванием конституции, устранением короля и дворянства, передачей прав третьему сословию: они охотно запрудили и остановили бы подгоняемое низами течение, чтобы уберечь свои завоевания. Представители духовенства и среднего сословия, Кондорсе, Ролан, жирондисты — вот их лидеры. Но те — на горе — стремятся еще раз поднять могучую революционную волну, чтобы смести все отсталое, все сохранившееся от старого строя; они хотят видеть Марата, Дантова, Робеспьера вождями пролетариата, стремятся к «*révolution intégrale*», полной радикальной революции, к атеизму и коммунизму. Низложив короля, они хотят низложить и остальные силы государства — деньги и бога. Чаша весов колеблется. Если победят жирондисты, умеренные, революция постепенно вырождается в либеральную, а потом в консервативную реакцию. Если победят

радикалы, они ринутся в глубины и водовороты анархии. Торжественная гармония первого часа не обманывает никого из присутствующих в роковом зале; каждый знает, что здесь скоро начнется борьба не на жизнь, а на смерть, борьба ума и силы. И место, которое занимает депутат внизу, в долине, или наверху, на горе, — определяет заранее его решение.

В числе семисот пятидесяти, торжественно вступающих в зал развенчанного короля, входит молча, с трехцветной повязкой поперек груди, народный представитель Жозеф Фуше, депутат от города Нанта. Тонзура уже заросла, духовное облачение давно сброшено: как и все здесь, он надел гражданское платье без всяких украшений.

Какое место займет Жозеф Фуше? Среди радикалов, на горе, или с умеренными, в долине? Жозеф Фуше не долго медлит; он признает только одну партию, которой остается верным до конца: ту, которая сильнее, партию большинства. И на этот раз он взвешивает и подсчитывает про себя голоса; он видит — в данный момент сила еще на стороне жирондистов, на стороне умеренных. И вот он садится на их скамьи, рядом с Кондорсе, Роланом, Серваном, с теми, кто держит в своих руках министерские посты, влияет на все назначения и распределяет прибыли. В их среде он чувствует себя уверенным, там занимает он место.

Но когда он случайно обращает взоры наверх, где заняли места их противники, радикалы, он встречает строгий недоброжелательный взгляд. Его друг, Максимилиан Робеспьер, адвокат из Арраса, собрал там своих соратников и, гордясь своей стойкостью, никому не прощающий колебаний и слабости, холодно и насмешливо лорнирует оппортуниста. В этот миг испарился остаток их дружбы. С тех пор при каждом жесте, при каждом поступке чувствует Фуше за спиной этот немилосердно испытующий, строго наблюдающий взор вечного обвинителя, неумолимого пуританина — и твердо помнит, что следует быть осторожным.

Осторожным: едва ли кто-нибудь осторожен в большей мере, чем он. В протоколах заседаний первых месяцев почти не встречается имени Жозефа Фуше. Пока все члены Конвента безудержно и тщеславно теснятся к ора-

торской трибуне, делают предложения, произносят речи, обвиняют друг друга и враждуют, депутат от Нанта ни разу не подымается на это возвышение. Слабый голос, мешающий ему выступать публично, — достаточное извинение в глазах друзей и избирателей. Молчание этого мнимо скромного депутата рядом с другими, жадно и нетерпеливо перебивающими друг друга, вызывает симпатию.

На самом же деле его скромность вызвана особым расчетом. Бывший физик вычисляет параллелограмм сил, он наблюдает, он медлит с решением вопроса, видя, что чаши весов все еще колеблются. Он предусмотрительно медлит с окончательным решением, ожидая, пока выяснится перевес той или иной стороны. Главное — не расточать себя, не выяснять преждевременно свою позицию, не связывать себя навсегда! Ведь еще не ясно — двинется ли революция вперед или отхлынет назад: истинный сын моряка, он ждет попутного ветра, чтобы оказаться на гребне волны, и до времени задерживает свой корабль в гавани.

Кроме того: еще в Аррасе, за монастырской стеной, он наблюдал, как быстро изнашивается популярность в эпоху революции, как быстро голос народа переходит от «осанны» к «распни его». Все или почти все, кто в эпоху Генеральных штатов и Законодательного собрания были выдвинуты на первый план, сегодня забыты народом или ненавистны ему. Прах Мирабо, вчера еще покоившийся в Пантеоне, сегодня с позором удален оттуда; Лафайет, несколько недель тому назад торжественно провозглашенный отцом отечества, сегодня уже слышит предателем; Кюстин, Петтион, несколько недель тому назад окруженные ликующей толпой, теперь боязливо прячутся в тени. Нет, только бы не слишком рано выдвинуться, не слишком быстро обосноваться, дать прежде остальным истощиться и распылиться! Революция — он, зоркий наблюдатель, знает это — подчиняется не первому, не зачинщику, а последнему, полагающему ей конец и завладевающему ею как добычей.

Так, преднамеренно, прячется в тени этот мудрец. Он приближается к власти имущим, но избегает всякой общественной, зримой власти. Вместо того чтобы подымать шум с трибуны или в газетах, он позволяет выбрать себя в комитеты и комиссии, где можно быть в курсе дел и

влиять на события, оставаясь в тени, избегая контроля и ненависти. И в самом деле, упорная, стремительная работоспособность делает его всеобщим любимцем, незаметность уберегает его от зависти. Из своего кабинета он может, выжидая, спокойно наблюдать, как растерзывают друг друга тигры горы и барсы жиронды, как великие в своей страстности, выдающиеся люди вроде Верньо, Кондорсе, Демулена, Дантона, Марата и Робеспьера наносят друг другу смертельные раны. Он смотрит и ждет, ибо он знает: лишь когда подвластные порывам страсти деятели уничтожат друг друга, настанет час появления на арене сдержанных и благоразумных. Только тогда, когда предreshен исход битвы, принимает Фуше окончательное решение.

Эта затененность всю жизнь является позицией Фуше. Никогда не быть открытым носителем власти и все же обладать ею, держать все нити в своих руках и никогда не нести ответственности. Постоянно стоять за спиной властителя, прикрываться им, подгонять его и, если он заходит слишком далеко, покидать его в решительную минуту, — это его излюбленная роль. Он играет ее, этот совершеннейший интриган политической арены, с одинаковой виртуозностью в двадцати вариантах, в бесчисленных эпизодах, среди республиканцев, королей и императоров.

Иногда представляется случай и вместе с тем соблазн взять на себя основную, заглавную роль в мировой игре. Но он слишком умен, чтобы всерьез стремиться к этому. Он помнит о своем безобразном отталкивающем лице, которое ни в малейшей степени не подходит для медалей и эмблем, для блеска и популярности, и которому вряд ли придаст что-нибудь героическое лавровый венок на челе. Он помнит о своем пискливом, слабом голосе, который достаточно отчетлив, чтобы нашептывать, внушать и навлекать подозрение, но не способен пламенной речью зажечь массы. Он помнит, что сильнее всего он в кабинете за письменным столом, за закрытой дверью, в тени. Оттуда он может следить и изучать, наблюдать и убеждать, протягивать нити и снова их спутывать, а сам — оставаться непроницаемым и неуловимым.

В этом — последняя тайна могущества Жозефа Фуше; он всегда стремится к власти, более того — к самой высшей

власти, но, в противоположность другим, удовлетворяется сознанием обладания ею: ему не нужны ее ордена и мантии. Фуше в высокой, высшей степени честолюбив, но не тщеславен; он стремится к власти, но не соблазняется мелочами. Как истинный и тонкий любитель умственной игры, он ценит только напряжение, порождаемое властью, а не ее отличительные знаки. Ликторский жезл, королевский скипетр, императорскую корону пусть спокойно носит другой; будь то сильный человек или марионетка, — это ему безразлично: Фуше охотно уступает другим блеск и сомнительное счастье быть любимцем парода. Он удовлетворяется тем, что знает положение дел, влияет на людей, руководит мнимым повелителем мира и, не рискуя собой, ведет самую азартную игру — грандиозную игру с политикой. Другие связаны своими убеждениями, своими публичными речами и жестами, а он, скрытый от света, в своем тайнике сохраняет внутреннюю свободу и остается постоянной осью в беге событий. Жироцистов свергли — Фуше остается, якобинцев прогнали — Фуше остается, директория, консульство, империя, королевство и снова империя исчезают и гибнут; один он, Фуше, остается, благодаря своей изумительной сдержанности, благодаря своему дерзкому мужеству, с которым он сохраняет свою бесхарактерность, благодаря непоколебимости в отсутствии убеждений.

Но настает в мировом движении революции день, один единственный день, не терпящий колебаний, день, когда каждый должен подать свой голос за или против, чет или нечет, — это 16 января 1793 г. Часовая стрелка революции подошла к полдню, пройдено полдороги, дюйм за дюймом отнята власть у королевства. Но еще жив Людовик XVI; он заключен в Тампль, но жив. Не удалось (как надеялись умеренные) устроить его побег, не удалось (как тайне желали радикалы) дать ему погибнуть от ярости народа при штурме дворца. Его унизили, лишили свободы, имени и звания, но он еще дышит, он король по наследственному праву крови, он внук Людовика четырнадцатого, хотя и прозванный теперь презрительно Луи Капе, он все еще опасен для молодой республики. И вот Конвент, после приговора 15 января, ставит вопрос о жизни или смерти. Тщетно нерешительные, трусливые, осторожные,

люди, подобные Жозефу Фуше, надеялись тайным голосованием избежать открытого, ответственного выступления: Робеспьер безжалостно настаивает, чтобы каждый представитель французской нации высказал перед собранием свое за или против, жизнь или смерть, чтобы народ и потомство знали, куда причислить каждого: к правым или к левым, к приливу или отливу революции.

Позиция Фуше уже 15 января вполне ясна. Принадлежность к жирондистам, стремления его чрезвычайно умеренных избирателей обязывают просить о помиловании короля. Он расспрашивает друзей, прежде всего Кондорсе, и видит, что они единогласно склоняются к тому, чтобы избежать этого невозвратимого приговора — смертной казни. И так как большинство принципиально против смертного приговора, Фуше, разумеется, на их стороне: еще накануне, 15 января, он читает одному из своих друзей речь с обоснованием просьбы о помиловании, которую он собирается произнести в Конвенте. Скамья умеренных, на которой сидит он, обязывает к умеренности, и так как большинство восстает против радикализма, то и Жозеф Фуше, не слишком обремененный убеждениями, презирает его.

Но между вечером 15 января и утром 16-го была еще ночь — беспокойная и трезожная. Радикалы не бездействовали, они привели в движение механизм народного возмущения, которым они превосходно умели руководить. В предместьях раздается грохот сигнальной пушки, секции барабанным боем собирают народ, — нестройные батальоны мятежников, всегда вызываемые остающимися в тени террористами, чтобы вынудить то или иное политическое решение: пивовар Сантер¹ одним нажимом пальца за несколько часов ставит их на ноги. Они известны, эти батальоны агитаторов предместий, торговых и авантюристов, еще со времени славного взятия Бастилии, их знают со времени гнусных сентябрьских убийств. Всякий раз, когда нужно прорвать плотину законов, насильно вздымают эту громадную народную волну, и всегда она неодолимо уно-

¹ Главнокомандующий национальной гвардией. *Прим. перев.*

сит с собой все — и последними тех, кого она вынесла на поверхность из собственной глубины.

Уже в полдень тысячи, десятки тысяч окружают манеж и Тюильри, мужчины с обнаженной грудью и грозными пиками в руках, издевающиеся, галдящие бабы в огненно-алых карманьолах, добровольцы национальной гвардии и уличная толпа. Из их среды появляются зачищники мятежей — Фурье-американец, Гудман-испанец, Теруань де Мерикур — истерическая карикатура на Жанну д'Арк. Когда проходят мимо депутаты, которых подозревают в готовности голосовать за помилование, их обливают, словно из ушата, потоком ругательств; народным представителям грозят кулаками, бросают им предостережения: все средства террора и грубого насилия пускаются в ход, чтобы запугать, заставить депутатов отправить на плаху короля.

И это запугивание смущает малодушных. При свете мерцающих свечей проводят испуганные жирондисты этот длинный серый зимний вечер. Еще вчера они были готовы голосовать против казни короля, чтобы избежать по возможности войны со всей Европой, а теперь, под страшным давлением народного восстания, они охвачены тревогой и не единодушны. Наконец, поздно вечером, начинается поименное голосование, и по иронии судьбы первым должен сказать свое слово вождь жирондистов Верньо, чей голос обычно, в его южно-темпераментных речах, молотом обрушивается на сотрясающееся дерево стен. В этот миг он, вождь республики, боится быть недостаточно республиканцем, высказываясь за помилование. И вот, обычно такой порывистый и бурный, он, стыдливо опустив большую голову, медленно, тяжелыми шатами подымается на трибуну и тихо произносит «*La mort*» — смерть.

Это слово камертоном звучит в зале. Первый среди жирондистов отступил. Большинство остальных верны себе; триста голосов из семисот поданы за помилование, хотя депутаты сознают, что теперь умеренность требует гораздо большей смелости, чем мнимая решительность. Долго колеблются чаши весов: несколько голосов могут все решить. Наконец вызывают Жозефа Фуше, депутата из Нанта, того самого, который накануне настойчиво уве-

рял друзей, что зажигательной речью защитит жизнь короля, который еще десять часов тому назад играл роль самого решительного среди решительных. Но тем временем бывший учитель математики, хороший калькулятор Фуше подсчитал голоса и увидел, что он рискует очутиться в невыгодной партии, в единственной партии, которую он не желает признавать: в партии меньшинства. Беспшумными шагами поспешно поднимается он на трибуну, и с его бледных уст тихо слетает слово: «La mort» — смерть.

Герцог Отрантский впоследствии произнесет и напишет сто тысяч слов, чтобы признать, что одно слово, сделавшее Жозефа Фуше «régicide», убийцей короля, было ошибкой. Но слово сказано публично и запечатлено в «Moniteur»;¹ его не вычеркнуть из истории, оно останется навеки памятным и в личной истории его жизни. Ибо это — первое публичное падение Жозефа Фуше. Он неверно напал сзади на своих друзей, Кондорсе и Дону, и их одурачил и обманул. Но перед лицом истории им краснеть за это не придется, ибо и другие, более сильные — Робеспьер и Карно, Лафайет, Баррас и Наполеон — самые могучие люди своей эпохи, разделят их участь: в минуту неудачи он предаст их.

В это мгновение, кроме того, обнаруживается впервые в характере Жозефа Фуше еще другая, ярко выраженная черта: его бесстыдство. Предательски бросая свою партию, он не прибегает к осторожным и медленным приемам, он не крадется смущенно из ее рядов. Среди белого дня, с холодной усмешкой, с поразительной, уничтожающей естественностью он прямым путем переходит к противнику и усваивает все его слова и аргументы. Что думают и говорят о нем прежние товарищи по партии, что думает толпа и общественность, это ему совершенно все равно. Ему важно только одно: быть всегда в числе победителей, а не побежденных. В молниеносности его превращения, в безграничном цинизме его измен проявляется дерзость, невольно ошеломляющая, вызывающая удивление. Ему достаточно двадцати четырех часов, иногда одного часа, иногда всего лишь мгновения, чтобы на глазах у всех бросить в сторону знамя своих убеждений и с шу-

¹ Официальный правительственный орган. *Прим. перев.*



Людовик XVI перед Национальным Конвентом
С картины работы Доменико Поллегрини

мом развернуть другое. Он идет нога в ногу не с идеей, а со временем, и чем быстрее оно мчится, тем проворнее он его догоняет.

Он знает, — нантские избиратели будут возмущены, прочитав завтра в «Moniteur» о результатах голосования. Значит, надо их перегнать: это вернее, чем убеждать. И с той же ослепляющей смелостью, с той же наглостью, освещающей его в такие мгновенья лучами величия, он не выжидает взрыва возмущения, а атакой предупреждает нападение. Через день после голосования, Фуше выпускает манифест, в котором он с треском выдает за свое внутреннее убеждение то, что в действительности ему внушил страх перед недоброжелательством парламента: он не оставляет своим избирателям времени для размышлений и подсчетов, а немедленно, грубо и сурово терроризирует и загоняет их.

Ни Марат, ни самые ярые якобинцы не сумели бы кровожаднее написать своим буржуазным избирателям, чем этот, вчера еще умеренный депутат: «Преступления деспота стали очевидными и преисполнили все сердца возмущением. Если его голова не падет тотчас же под ножом гильотины, все разбойники и убийцы смогут свободно расхаживать по улицам, и нам будет грозить ужаснейший хаос. Время за нас и против всех королей земного шара». Так прокламирует необходимость и неизбежность казни тот, кто еще накануне носил в кармане сюртука столь же убедительный манифест против казни.

И действительно, умный математик вычислил правильно. Он оппортунист, — и потому прекрасно знает всеокрушающую силу трусости; он знает, что, когда на политическую арену выступают массы, смелость является решающим знаменателем во всех вычислениях. Он прав: честные консервативные буржуа боязливо склоняются перед этим наглым, неожиданным манифестом; сбитые с толку и смущенные, они торопятся санкционировать решение, которому в душе нимало не сочувствуют. Никто не осмеливается противоречить. И с того дня Жозеф Фуше держит в руках жестокий, холодный рычаг, который дает ему власть над всеми кризисами: презрение к людям.

С этого дня, с 16 января, хамелеон Жозеф Фуше одевается (до поры до времени) в красный цвет; в один

день умеренный становится архинепримирым радикалом и сверттеррористом. Одним прыжком он попадает к своим противникам и даже в их рядах оказывается на крайнем, самом левом, самом радикальном крыле. С жуткой поспешностью — лишь бы не отстать от других — усваивает этот холодный ум, этот трезвый кабинетный человек кровожадный жаргон террористов. Он требует решительных мер против эмигрантов, против духовенства; он возбуждает, он гремит, он неистовствует, он убивает словами и жестами. Собственно говоря, он мог бы опять подружиться с Робеспьером и сесть с ним рядом. Но этот неподкупный, с протестантски-суровой совестью человек не любит ренегатов; с удвоенной подозрительностью отворачивается он от перебежчика; шумный радикализм Фуше кажется ему подозрительнее его прежнего хладнокровия.

Фуше своим обостренным чутьем угадывает опасность этого надзора, он предвидит приближение критических дней. Не рассеялась еще гроза над собранием, на политическом горизонте уже обрисовывается борьба между вождями революции, между Дантоном и Робеспьером, между Эбером и Демуленом; следовало бы и здесь, в среде радикалов, принять окончательное решение, но Фуше не любит связывать себя, пока признание не станет безопасным и выгодным. Он знает, что в роковые эпохи мудрость дипломата в том, чтобы быть подальше от иных ситуаций. И вот он предпочитает покинуть политическую арену Конвента на все время борьбы, чтобы вернуться, когда спор будет решен. Для такого отступления, к счастью, представляется почетный предлог, ибо Конвент избирает двести делегатов из своей среды, чтобы поддержать порядок в округах. Чувствуя себя неважно в вулканической атмосфере зала собраний, Фуше прилагает все старания, чтобы попасть в число этих двухсот, — и его избирают. Ему дали передышку. Пусть тем временем другие борются, уничтожают друг друга, пусть они, страстные натуры, расчищают место для честолюбца! Лишь бы не присутствовать при этом, не стать партией среди партий! Несколько месяцев, несколько недель не мало значат в эпоху бешеного бега мировых часов. Когда он вернется, решение уже будет принято, и он сможет тогда спокойно и безнаказанно при-

соединиться к победителю, к своей неизменной партии: к большинству.

Историки французской революции уделяют не слишком много внимания событиям в провинции. Все описания словно прикованы к Парижскому циферблату, к единственным часам, за которыми легко следить. Но маятник, регулирующий их ход, надо искать в стране и в армиях. Париж является лишь словом, инициативой, стимулом, а гигантская страна — действием и решающей силой.

Своевременно понял Конвент, что темпы революции в городе и в деревне не совпадают: люди в селах, в деревушках и в горах соображают не так быстро, как в столице, они воспринимают идеи гораздо медленнее и осторожнее и переребатиывают их по собственному разумению. То, что в Конвенте на протяжении часа становится законом, медленно и по каплям просачивается в равнину, большей частью уже фальсифицированным и разжиженным стараниями провинциальных чиновников-роялистов и духовенства, — людей старого порядка. Поэтому окружные часы всегда отстают от Парижа на мировой час. Когда в Конвенте господствуют жирондисты, в провинции еще раздаются голоса в защиту короля; когда торжествуют якобинцы, провинция только начинает приближаться к Жиронде. Тщетны поэтому все патетические декреты, ибо печатное слово в ту пору медленно и нерешительно пробивает себе дорогу в Овернь и Вандею.

Это заставило Конвент направить в провинцию действенных носителей живого слова, чтобы ускорить ритм революции по всей Франции, победить почти сопротивляющийся революции темп округов. Он избирает из своей среды двести депутатов, обязанных вершить его волю, и дает им почти неограниченную власть. Кто носит трехцветный шарф и красную шляпу с перьями, тот обладает и диктаторскими правами. Он может взимать налоги, выносить приговоры, набирать рекрутов, смещать генералов: ни одно ведомство не смеет сопротивляться тому, кто своей священной персоной символически представляет волю Конвента. Его права неограниченны, как некогда в Риме права проконсулов, вершивших в завоеванных странах волю сената; каждый из них диктатор, самодер-

жавный повелитель; на его решения нельзя ни возражать, ни жаловаться.

Могущество этих выборных посланцев огромно, но огромна и ответственность. Каждый из них в пределах переданной ему области является как бы королем, императором, неограниченным самодержцем. Но за спиной каждого высится гильотина, ибо Комитет общественного спасения следит за всякой жалобой и требует от каждого немилосердно точного отчета в распоряжении денежными суммами. Кто не достаточно суров, с тем сурово поступят; кто, наоборот, слишком неистовствовал, того ждет возмездие. Если властвует террор — террористические мероприятия оказываются правильными; если чаша весов склоняется к милости, они оказываются ошибкой. Кажущиеся хозяева целой страны — они на самом деле рабы Комитета общественного спасения, подвластные капризам часа: поэтому они беспрестанно поглядывают в сторону Парижа, прислушиваются к его голосу, чтобы, властвуя над жизнью и смертью других, сохранить свою жизнь. Нелегкую должность они взяли на себя. Так же, как генералы революции перед лицом врага, они знают, что только одно может их извинить и спасти от обнаженного меча: успех.

Час, когда Фуше назначен проконсулом, — это час радикалов. Поэтому Фуше неистово радикален в своем департаменте нижней Луары — в Нанте, Невере и Мулене. Он громит умеренных, он наводняет провинцию потоком манифестов, он грозит суровыми карами богатым, робким, нерешительным, он сколачивает в деревнях, применяя моральное и физическое принуждение, целые полки добровольцев и направляет их против врага. В организационной мощи, в быстром охвате ситуации он вполне достоин своих товарищей, в отважных речах он превосходит их всех.

Ибо — и это следует запомнить — Жозеф Фуше не соблюдает осторожности в вопросах религии и частной собственности, идя в этом дальше передовых борцов революции Робеспьера и Дантона, которые еще почтительно объявляют их «неприкосновенными»; он составляет смелую радикально-социалистическую, большевистскую программу. Первый коммунистический манифест нового вре-

мени это не известный манифест К. Маркса или «Hessische Landbot»¹ Георга Бюхнера, а почти не отмеченная в социалистической летописи лионская «Инструкция», подписанная Колло д'Эрбуа и Фуше, но сочиненная, несомненно, одним Фуше. Этот энергичный, опередивший на сто лет запросы времени документ — один из удивительнейших документов революции — достоин того, чтобы извлечь его из мрака забвения; пусть его историческая ценность умаляется тем, что впоследствии герцог Отрантский отчаянно отмежевывался от всего, когда-то провозглашенного гражданином Жозефом Фуше, — все же, с современной точки зрения, этот манифест заставляет считать Фуше первым социалистом и коммунистом революции. Не Марат и не Шомет формулировали самые смелые требования французской революции, а Жозеф Фуше; этот документ ярче и резче любого описания освещает его вечно затененный образ.

«Инструкция» смело начинается с декларирования непотрешимости всех дерзаний: «Все позволено тем, кто действует в духе революции. Для республиканца нет опасности, кроме опасности плестись в хвосте законов республики. Кто перешагнет через них, кто казалось бы явно залетает дальше цели, тот часто еще далек от завершения. Пока существует хоть один несчастный на земле, свобода должна идти вперед».

После этого энергичного, казалось бы уже максималистского введения Фуше поясняет сущность революционного духа: «Революция совершена для народа; но под этим именем не следует подразумевать привилегированный благодаря своему богатству класс, присвоивший все радости жизни и все имущество общества. Народ — это совокупность французских граждан и прежде всего грандиозный класс бедняков, защищающих границы нашего отечества и кормящий своим трудом общество. Революция была бы политическим и моральным бесчинством, если бы она заботилась о благополучии нескольких сотен людей и терпела нищету двадцати четырех миллионов. Она была бы оскорбительным обманом человечества, если бы, дей-

¹ «Гессенский депутат» — памфлет, изданный Г. Бюхнером в Гессене в 1834 г., с эпиграфом: «Мир хижинам, война дворянам».

Прим. пер.

ствуя всегда во имя равенства, примирилась с громадным расстоянием между благополучием одного человека и другого». После этих вступительных слов Фуше развивает свою излюбленную теорию, что богатый, «*mauvais riche*», никогда не может быть настоящим революционером, не может быть настоящим искренним республиканцем, что, следовательно, всякая буржуазная революция, сохраняющая разницу состояний, должна неизбежно выродиться в новую тиранию, «ибо богачи всегда считают себя особой породой людей». Поэтому Фуше требует от народа проявления величайшей энергии и совершенной, «интегральной» революции. «Не обманывайте себя: чтобы быть действительно республиканцем, каждый гражданин должен в самом себе произвести революцию, подобно той, которая преобразила лик Франции. Не должно остаться ничего общего между подданными тиранов и населением свободной страны. Все их действия, их чувства, их привычки должны быть изменены. Вас притесняют — значит вы должны уничтожить ваших притеснителей, вы были рабами церковных суеверий — теперь вашим единственным культом пусть будет культ свободы. . . Каждый, кому чужд этот энтузиазм, кто знает иные радости, иные заботы, кроме счастья народа, кто открывает свою душу холодным интересам, кто подсчитывает, какую прибыль ему даст его звание, его положение и талант, и тем самым отделяется на миг от общего дела, чья кровь не кипит при виде притеснений и роскоши, кто проливает слезы сочувствия над бедствиями врагов народа и не сохраняет всей своей чувствительности для мучеников свободы, тот лжет, если он осмеливается называть себя республиканцем. Пусть он покинет нашу страну, иначе его узнают, его нечистая кровь прольется на свободную землю. Республика хочет видеть в своих пределах лишь свободных людей, она решила истребить всех других, и она называет своими детьми лишь тех, кто хочет жить, бороться и умирать за нее». В третьем параграфе революционная декларация становится обнаженным, откровенным коммунистическим манифестом (первым достаточно ясным — 1793 г.): «Каждого, имеющего больше самого необходимого, надо заставить принять участие в этом исключительной важности деле оказания помощи, и такса должна находиться в соответ-

ствии с великими требованиями отечества; поэтому вы должны в самых широких размерах, подлинно революционным способом установить, сколько каждый в отдельности должен вносить на общее дело. Тут идет речь не о математическом определении и не о боязливо осторожном методе, обычно применяемом при составлении налоговых списков; это особое мероприятие должно соответствовать характеру обстоятельств. Действуйте поэтому широко и смело, возьмите у каждого гражданина все, в чем он не нуждается, ибо всякий излишек (*le superflu*) — открытое поругание народных прав. Единичная личность может лишь во зло употребить свои излишки. Поэтому оставляйте лишь безусловно необходимое, все остальное во время войны принадлежит республике и ее армиям.

Особенно подчеркивает Фуше в этом манифесте, что нельзя удовлетворяться только деньгами. «Все предметы, — продолжает он, — которыми они обладают в излишке и которые могут быть полезны защитникам отечества, принадлежат отныне отечеству. Есть люди, которые обладают громадными количествами полотна и рубах, платков и сапог. Все эти вещи должны стать предметом революционной реквизиции». Таким же образом он требует, чтобы в национальную казну было отдано золото и серебро, «*métaux vils et corrupteurs*»;¹ презренные для истинного республиканца; «украшенные эмблемой республики, очищенные огнем, они станут полезным достоянием общества. Для торжества республики нам нужны лишь сталь и железо». Его воззвание кончается ужасным призывом к беспощадности. «Мы со всей строгостью будем охранять врученные нам полномочия, мы будем наказывать как злостное намерение все, что при других обстоятельствах означало бы упущение, слабость и медлительность. Время половинчатых мероприятий и пощады миновало. Помогите нам наносить мощные удары, иначе они обрушатся на вас самих. Свобода или смерть! — выбирайте».

Этот принципиальный документ дает возможность угадать методы деятельности Жозефа Фуше в роли проконсула. В департаменте Нижней Луары, в Нанте, Невере и Мулене он осмеливается вступать в борьбу с самыми

¹ Презренные и развращающие металлы.

могучими силами Франции, перед которыми осторожно отступают даже Робеспьер и Дантон, — с частной собственностью и церковью. Он действует быстро и решительно в направлении «Egalisation des fortunes»,¹ избрав так называемые «филантропические комитеты», которым состоятельные люди обязаны преподносить дары, устанавливая их размеры по своему усмотрению. Чтобы быть достаточно хорошо понятым, он сразу же делает мягкое указание: «если богатый не использует своего права сделать достойным любви режим свободы, — республика оставляет за собой право завладеть его состоянием». Он не терпит излишков, энергично искореняет самое понятие «superflu».² Республиканцу нужно только оружие, хлеб и сорок эю дохода. Фуше извлекает лошадей из конюшен, муку из мешков, арендаторы отвечают жизнью за неисполнение данных им предписаний, он предписывает употребление хлеба определенного образца, хлеба мировой войны, и запрещает всякое печенье из белой муки. Каждую неделю он таким образом выставляет пятьсот рекрутов, снабженных лошадьми, сапогами, обмундированием и ружьями, он заставляет работать фабрики, и все подчиняется его железной энергии. Деньги стекаются, — налоги, подати и дары, поставки и работа; два месяца спустя он гордо пишет Конвенту «on tougit ici d'être riche» — «здесь стыдятся прослыть богатым». Но в действительности он должен был бы сказать: «Здесь боются прослыть богатым».

Выступая как радикал и коммунист, Жозеф Фуше, впоследствии миллионер и герцог Отрантский, пабожно венчающийся в церкви с благословения короля, выступал в это время в роли свирепого, страстного гонителя христианства. «Этот лицемерный культ должен быть заменен верой в республику и мораль», гремит он в своем зажигательном послании, и, как удары молнии, обрушиваются первые мероприятия на церкви и соборы. Закон за законом, декрет за декретом: «Духовенство имеет право носить свое облачение только при исполнении обрядов», все преимущества у него отнимаются, ибо «пора, — поясняет

¹ Уравнения состояний.

² Излишек.

он, — возвратить этот высокомерный класс к чистоте древнего христианства и обратить его в граждан государства». Скоро Жозефа Фуше перестает удовлетворять положение высшей военной власти, высшего вершителя правосудия, неограниченного диктатора; он забирает себе и все права церкви. Он уничтожает безбрачие духовенства, приказывает священнослужителям в течение месяца обзавестись женами или усыновить ребенка, он на рыночных площадях заключает браки и расторгает их, он подымается на амбон (откуда старательно вынесены кресты и религиозные украшения) и произносит атеистические проповеди, в которых отрицает бессмертие и существование бога. Христианские обряды на похоронах отменяются, и в утешение на кладбищенских церквях высекается надпись: «Смерть — это вечный сон». В Невере новоявленный папа впервые в стране совершает обряд гражданского крещения своей дочери, названной в честь департамента «Ниевр». Национальная гвардия выступает с барабанным боем и музыкой, и на рыночной площади он без участия церкви дает ребенку имя. В Мулене он верхом во главе целого кортежа разъезжает по городу, с молотком в руке, и разбивает кресты, распятия и религиозные изображения, «постыдные» свидетельства фанатизма. Похищенные митры и на престольные покровы складываются на костер, и, пока вздымается пламя этого аутодафе, народ кружится в танце. Но неистовствовать, разбивая мертвые предметы, беззащитные каменные фигуры и хрупкие кресты, было бы для Фуше только частичным торжеством. Настоящее торжество доставил ему архиепископ Франсуа Лоран, сорвавший с себя после его речей облачение и надевший красную шапку; тридцать священнослужителей с восторгом последовали его примеру, — этот успех охватил пожаром всю Францию. И гордо хвастается Фуше перед своими менее удачливыми коллегами-атеистами, что он уничтожил фанатизм, вытравил христианство во вверенной ему области, также как богатство.

Казалось бы, все это — сумасбродные деяния испуганного, страстного фанатика и фантазера. Но в действительности Жозеф Фуше даже в мнимой страстности остается трезвым калькулятором и реалистом. Он знает, что обязан отчитаться перед Конвентом, знает, что курс

патриотических фраз и писем падает так же быстро, как и курс ассигнаций, и если хочешь возбудить удивление, нужно найти железные слова. И отправляя набранные им полки к границе, всю прибыль от грабежа церквей он отправляет в Париж. Ящик за ящиком с золотыми дароношицами, сломанными и расплавленными серебряными подсвечниками, тяжеловесными распятиями и драгоценными камнями втаскивают в Конвент. Он знает: республике нужны прежде всего наличные деньги, и он первый. Он единственный посылает депутатам из провинции свою красноречивую добычу. Сперва они поражены этой небывалой энергией, потом приветствуют ее громовыми аплодисментами. С этого часа знают и повторяют в Конвенте имя Фуше — железного человека, самого неустрашимого, могущественного республиканца республики.

Когда Фуше, исполнив свою миссию, возвращается в Конвент, он уже не похож на того неизвестного ничтожного депутата, каким был в 1792 г. Человеку, который выставил десять тысяч рекрутов, который выжал сто тысяч марок золотом, тысячу двести фунтов наличных денег, тысячу слитков серебра, ни разу не прибегнув к «*ga-soir national*»,¹ к гильотине. Конвент поистине не может за его усердие, «*pour sa vigilance*», отказать в уважении. Ультрарякобинец Шомет публикует гимн в честь его деяний. «Гражданин Фуше, — пишет он, — сотворил те чудеса, о которых я рассказывал. Он почтил старых, поддержал слабых, разрушил фанатизм, уважил несчастных, уничтожил протекционизм. Он восстановил производство железа, арестовал подозрительных граждан, примерно наказал каждое преступление, преследовал и сажал в тюрьмы эксплуататоров». Спустя год после того, как он осторожно и робко сел на скамью умеренных, Фуше слывет самым радикальным в среде радикалов, и когда восстание в Лионе потребовало назначения особенно энергичного человека, беспощадного, не знающего колебаний, — кто мог показаться более подходящим для проведения самого ужасного эдикта, когда-либо созданного этой или какой-либо другой революцией? «Услуги, оказанные тобой революции, — предписывает ему на своем великолепном жаргоне

¹ Национальная бритва.

Конвент, — служит залогом тех, которые ты еще окажешь. Ты должен в Ville Affranchie (Lyon)¹ снова разжечь потухающий факел гражданского духа. Доверши революцию, положи конец войне аристократов, и да обрушатся на них развалины, которые упавшая власть стремится восстановить».

В этом образе мстителя и разрушителя, «Mitrailleur de Lyon», вступает теперь Жозеф Фуше, будущий миллионер, впоследствии герцог Отрантский, в мировую историю.

¹ «Освобожденном городе»

ГЛАВА ВТОРАЯ

«MITRAILLEUR DE LYON»

1793

В истории французской революции редко замечают одну из самых кровавых ее страниц — Лионское восстание. И все же ни в одном городе, даже в Париже, социальные противоречия не выразились так остро, как в этом первом индустриальном городе, родине шелкового производства, тогда еще мелкобуржуазной и аграрной Франции. Там рабочие еще в разгар буржуазной революции 1792 г. впервые образуют отчетливо пролетарскую массу, резко отмежевывающуюся от роялистически и капиталистически настроенных предпринимателей. Нет ничего удивительного, что как раз на этой раскаленной почве конфликты выливаются в самые кровавые и фанатические формы, — реакция, также как и революция.

Приверженцы якобинцев, толпы рабочих и безработных группируются вокруг одного из тех чудаков, которых внезапно выносит на поверхность всякий мировой переворот, одного из тех кристально-чистых идеалистов, которые, однако, своей верой и своим идеализмом навлекают больше невзгод и вызывают больше кровопролития, чем самые грубые реалисты-политики и самые свирепые террористы. Обычно как раз искренне верующие, религиозные, экстаичные натуры, стремящиеся пересоздать, исправить мир, дают, несмотря на свои лучшие намерения, повод к отвратительным для них самим убийствам и несчастьям. В Лионе таким человеком был Шалье, расстрига-священник и

бывший купец, для которого революция стала истинным, настоящим христианством; он был предан ей с любовью, суеверной и самозабвенной. Взлет человечества к разуму и к равенству означает для этого страстного читателя Жан-Жака Руссо осуществление тысячелетнего царства, его пылкое и фанатическое человеколюбие видит в мировом пожаре зарю новой нескончаемой человечности. Трогательный фантазер: когда Бастилия пала, он собственными руками относит камень из стены замка в Лион, шесть дней и шесть ночей проведя в пути, и делает из него алтарь. Он обожает пламенного, язвительного памфлетиста Марата, как бога, как новую Пифию; он знает наизусть его речи и статьи и сильнее любого оратора воспламеняет своими мистическими и наивными речами лионских рабочих. Инстинктивно чувствует в нем народ горячего сострадательного человеколюбца, а лионские реакционеры понимают, что этот чистый духом, одержимый человеколюбием человек опаснее зачинщиков мятежей—якобинцев. К нему привлечены все сердца, против него направлена вся ненависть. И когда в городе вспыхивают первые волнения, в тюрьму бросают, как зачинщика, этого неврастенического, немного смешного фантазера. С трудом, прибегнув к помощи подложного письма, выкапывают против него какое-то обвинение и в назидание другим радикалам, делая тем самым вызов Парижскому Конвенту, приговаривают его к смертной казни.

Тщетно возмущенный Конвент посылает в Лион гонца за гонцом, чтобы спасти Шалье. Он увещевает, он требует, он угрожает карами непослушному магистрату. Но решившись, наконец, показать когти парижским террористам, городская дума самовластно отвергает все протесты. Нехотя выписали в свое время лионцы инструмент террора — гильотину — и поставили ее в сарай: теперь они решили дать урок поклонникам террора, впервые испытав это, так называемое гуманное орудие революции на революционере. И так как машина не испробована, палач неопытен, — казнь Шалье превращается в жестокую, тусную пытку. Трижды опускается тупой нож, не отсекая головы осужденного. С ужасом смотрит народ, как закованное, обливающееся кровью, еще живое тело его вождя корчится в мучениях постыдной пытки, пока палач мило-

сердным ударом сабли не отделяет голову несчастного от туловища.

Но эта голова мученика, трижды раздробленная, скоро становится палладиумом мести для революции и головой Медузы для убийц.

Конвент встревожен известием об этом преступлении. Неужели французский город осмеливается открыто выступить против Конвента! Этот наглый вызов должен быть потоплен в крови. Но и лионские правители понимают, что им предстоит. Они переходят от сопротивления к открытому мятежу; они собирают войско, готовят оружие защиты против сограждан, против французов, и открыто сопротивляются республиканской армии. Теперь оружие должно решить спор между Лионом и Парижем, между реакцией и революцией.

С логической точки зрения гражданская война в такой момент должна казаться самоубийством молодой республики. Ибо никогда ее положение не было опаснее, отчаянее, безвыходнее. Англичане заняли Тулон, завладели арсеналом и флотом, угрожают Дюнкирхену; пруссаки и австрийцы продвигаются вдоль берегов Рейна и в Арденнах, а вся Вандея охвачена пожаром. Битвы и мятежи сотрясают республику от одной границы до другой. Но эти дни — поистине героические дни Конвента. Следуя жуткому роковому инстинкту, вожди решают победить опасность, послав ей вызов; после казни Шалье они отвергают всякое соглашение с его палачами. «*Potius mori quam feodari*», «лучше гибель, чем союз», лучше прибавить к семи войнам еще одну, чем заключить мир, свидетельствующий о слабости. И этот неистовый порыв отчаяния, эта нелогичная бешеная страстность спасли в момент величайшей опасности французскую революцию, так же, как впоследствии — русскую (одновременно теснимую с запада, востока, юга и севера англичанами и наемниками всего мира, а внутри страны — полками Врангеля, Деникина и Колчака). Не помогает и то, что напуганная лионская буржуазия открыто бросается в объятия роялистов и доверяет свои отряды королевскому генералу, — из деревень, из предместий стекаются пролетарские солдаты, и 9 октября республиканские полки штурмом берут охваченную мятежом вторую столицу Франции. Этот день — быть

может самая большая гордость французской революции. Когда председатель Конвента торжественно поднимается со своего места и заявляет о капитуляции Лиона, депутаты вскакивают с своих мест, ликуют и обнимают друг друга; на мгновение кажется, что улажены все споры. Республика спасена, всей стране, всему миру дано величественное доказательство неотразимой мощи, силы гнева и напора республиканской народной армии. Но гордость перед лицом этого подвига фатально влечет победителей к заносчивости, к жгучей жажде обратить свое торжество в террор. Столь же грозной, как и порыв к победе, должна быть месть победителей. «Надо показать на этом примере, как сурово наказывает французская республика, молодая революция тех, кто восстает против трехцветного знамени». Так перед всем миром позорит себя Конвент, поборник гуманности, декретом, для которого историческим фоном могут служить варварское нападение Барбароссы на Милан или подвиги калифов. 12 октября председатель Конвента берет в руки ужасный лист, содержащий всего только предложение разрушить вторую столицу Франции. Вот этот мало известный декрет:

1. Национальный Конвент назначает по предложению Комитета общественного спасения чрезвычайную комиссию из пяти членов, чтобы немедленно наказать лионскую контрреволюцию по законам военного времени.

2. Все жители Лиона должны разоружиться и сдать свое оружие защитникам республики.

3. Часть его будет передана патриотам, угнетаемым богачами и контрреволюционерами.

4. Город Лион должен быть разрушен. Все дома, где жили состоятельные люди, — уничтожить; должны быть сохранены лишь дома бедноты, квартиры убитых или осужденных патриотов и сооружения, служащие промышленным, благотворительным и педагогическим целям.

5. Название Лион вычеркивается из списка городов Республики. С этих пор название, объединяющее оставшиеся дома, будет: *Ville Affranchie*.¹

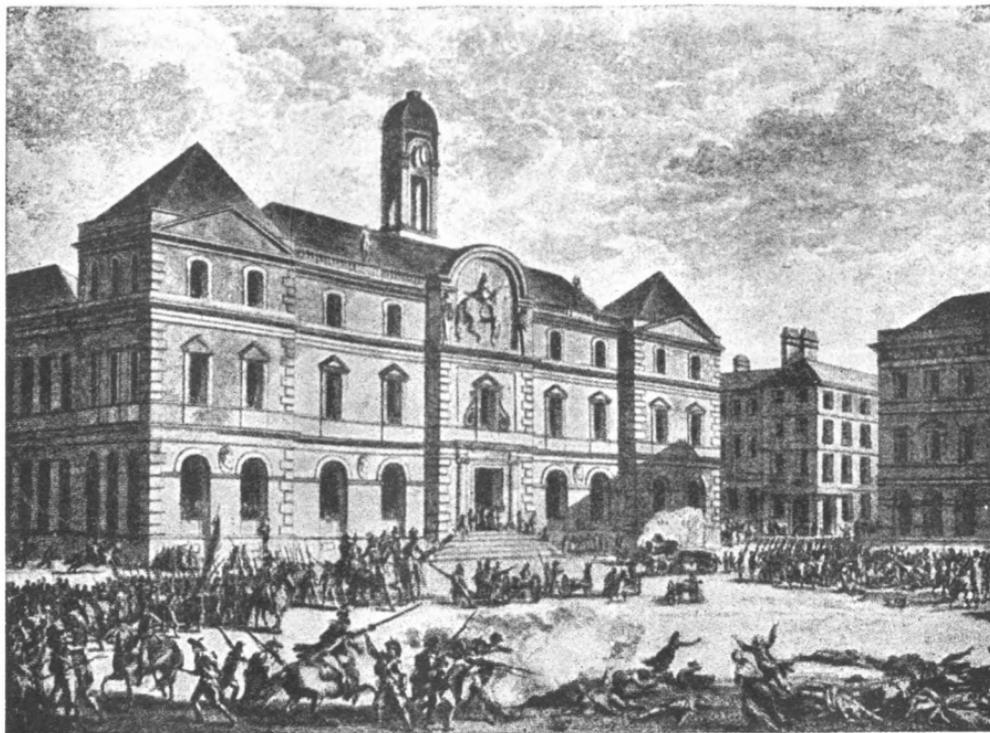
6. На развалинах Лиона возвести колонну, которая будет вещать грядущим поколениям о преступлениях и на-

¹ «Освобожденный город».

казании роялистского города следующей надписью: «Лион боролся против свободы — Лиона больше нет».

Никто не осмеливается возражать против безумного предложения — превратить второй по величине город Франции в груды развалин. Мужество испарилось во французском Конвенте с тех пор, как нож гильотины зловеще сверкает над головой каждого, осмеливающегося хоть бы шепотом произнести слова «милость» или «сострадание». Напуганный собственным страхом, Конвент единогласно одобряет варварское деяние, и Кутону, другу Робеспьера, дается поручение привести его в исполнение.

Кутон, предшественник Фуше, сразу постигает безумные, убийственные для республики последствия умышленного уничтожения, острастки ради, самого большого промышленного города страны со всеми его памятниками искусства. И с первого же мгновения он решает саботировать постановление Конвента. Чтобы осуществить это, нужно пустить в ход лживое притворство. Поэтому свое тайное намерение пощадить Лион Кутон прячет за хитростью, — он чрезмерно восхваляет безумный декрет. «Граждане-коллеги, — восклицает он, — мы пришли в восхищение, прочитав ваш декрет. Да, необходимо разрушить город, и пусть это послужит великим уроком для всех, кто мог бы осмелиться восстать против отечества. Из всего запаса великих и могущественных мер воздействия, применявшихся Национальным Конвентом, от нас до этих пор ускользала лишь одна: полное разрушение... но будьте спокойны, граждане-коллеги, и заверьте Конвент, что мы разделяем его воззрения и точно исполним его декреты». Однако, приветствуя гимном возложенное на него поручение, Кутон и не думает приводить его в исполнение, удовлетворяясь театральными мероприятиями. Ранний паралич лишил его ног, но не упрямой отваги; он приказывает отнести себя в носилках на Лионскую рыночную площадь, ударом серебряного молота символически отмечает дома, подлежащие разрушению, и уведомляет трибунал об ужасной мести. Этим он успокаивает разгоряченные умы. В действительности же под предлогом недостатка рабочих рук он лишь для проформы посылает несколько женщин и детей, ограничивающихся десятком вялых ударов за-



Лионская расправа 14 декабря 1793 года
С картины работы Жана Дюлесси-Берто

ступа возле домов, и приводит в исполнение лишь несколько смертных приговоров.

Город уже облегченно вздыхает, пораженный неожиданной милостью после грозных объявлений. Но и террористы не дремлют, они начинают догадываться о снисходительных намерениях Кутона и силой принуждают Конвент к насилию. Окровавленный, раздробленный череп Шалье как святыню привозят в Париж, с пышной торжественностью показывают Конвенту и, подстрекая народ, выставляют его в Нотр-дам. Все нетерпеливее бросают они обвинения кунктатору Кутону: он вял, ленив, труслив, недостаточно мужествен, чтобы привести в исполнение примерную месть. Здесь нужен беспощадный, надежный и искренний революционер, не боящийся крови, способный на крайние меры, — железный и закаленный человек. В конце концов Конвент уступает их требованиям и шлет в злосчастный город на место слишком милостивого Кутона новых палачей: самых решительных своих трибунов — порывистого Колло д'Эрбуа (о котором легенда повествует, что его в бытность артистом освистали в Лионе и потому он самый подходящий человек, чтобы проучить граждан этого города), а с ним радикальнейшего проконсула, прославленного якобинца и крайнего террориста — Жозефа Фуше.

Действительно ли неожиданно призванный для свершения кровавого дела Жозеф Фуше был палачом, «кровапийцей», как в то время называли передовых бойцов террора? Судя по его словам — безусловно. Едва ли кто-нибудь из проконсулов вел себя в порученной ему провинции решительнее, энергичнее, радикальнее, революционнее, чем Жозеф Фуше; он беспощадно реквизирует, грабит церкви, захватывает богатства и душит всякое сопротивление. Однако, — и это чрезвычайно характерно для него! — только в словах, приказах и запугиваниях проявляется его террор, ибо за все время его власти ни в Невере, ни в Кламеси не пролилось ни одной капли крови. Пока в Париже гильотина работает как швейная машина, пока Карье в Нанте сотнями топит «подозрительных» в Луаре, пока по всей стране идут расстрелы, убийства, травля, Фуше в своем округе не совершает ни единой политической казни. Он знает — это лейтмотив его пси-

хологи — трусость большинства людей, он знает, что бурный, сильный террористический жест большей частью заменяет террор. И когда впоследствии, в эпоху пышного расцвета реакции, все провинции обвиняют своих былых повелителей, его округ может засвидетельствовать только то, что он все время грозил казнями, но никто не обвиняет его в том, что свои угрозы он приводил в исполнение. Итак: мы видим, что Фуше, назначенный палачом Лиона, не любит крови. Этот холодный, бесчувственный калькулятор и игрок — скорее лисица, чем тигр — не нуждается в запахе крови для возбуждения нервов. Он неистовствует (без внутренней лихорадки) на словах и в угрозах, но никогда не требует казней ради наслаждения убийством, ради бешенства власти. Инстинкт и благоразумие (а не гуманность) заставляют его уважать человеческую жизнь пока его собственная жизнь в безопасности; он угрожает жизни и судьбе человека лишь тогда, когда ставится под угрозу его собственная жизнь или выгода.

В этом тайна почти всех революций и трагическая судьба их вождей: все они не любят крови и все же насильно вынуждены ее проливать. Демулен, сидя за письменным столом, требует с пеной у рта суда над жирондистами; но когда он в зале суда услышал смертный приговор двадцати двум людям, которых сам привлек к ответственности, он вскочил дрожащий, бледный как смерть, и выбежал в смятении: нет, этого он не хотел! Робеспьер, поставивший свою подпись под тысячами роковых декретов, за два года до этого в Национальном Собрании вставал против смертной казни и клеймил войну как преступление. У Дантона, хотя он был создателем трибунала смерти, вырвалось из глубины смущенной души изречение: «лучше самому быть казненным, чем казнить других». Даже Марат, требовавший в своей газете триста тысяч голов, старался спасти каждого приговоренного в отдельности. Вина французских революционеров не в том, что они опьянялись запахом крови, а в их кровавых речах: они сделали глупость, создав ради воодушевления народа, ради засвидетельствования своего радикализма кровавый жаргон и постоянно фантазируя об изменниках и эшафоте. И когда народ, опьяненный, одурманенный, одержимый этими безумными возбуждающими речами,

действительно требует провозглашенных обязательными «энергичных мер», у вождей не хватает мужества оказать сопротивление: они обязаны гильотинировать, чтобы избежать обвинения в лживости разговоров о гильотине. Их деяния вынуждены мчаться за их бурными речами, и вот начинается жуткое соревнование, — ибо никто не осмеливается отстать от другого в погоне за народным благоволением. В силу неуклонного закона тяготения, одна казнь влечет за собой другую: игра кровавыми словами превращается в бешенство казней; приносить в жертву тысячи жизней заставляет не наслаждение, даже не страсть, и меньше всего решительность, — а как раз нерешительность, даже трусость политиков, партийных деятелей, не имеющих мужества сопротивляться народу. К сожалению, мировая история — история не только человеческого мужества, как ее чаще всего изображают, но и история человеческой трусости, политика — не руководство общественным мнением, как хотят нам внушить, а рабское преклонение вождей перед той инстанцией, которую они сами создали и подготовили. Так всегда возникают войны: из игры опасными словами, из возбуждения национальных страстей; так возникают и политические преступления. Ни один порок, ни одна жестокость не вызвали столько кровопролития, сколько человеческая трусость. Поэтому, если Жозеф Фуше в Лионе становится массовым палачом, то причина этого кроется не в его республиканской страстности (он ее не знает), а лишь в боязни прослыть умеренным. Но не мысли являются решающими в истории, а деяния, и хотя он тысячу раз возражал против этого слова, но за ним все-таки утвердилось прозвище: «Le Mitrailleur de Lyon». И даже герцогская мантия впоследствии не сможет скрыть следов крови на его руках.

7 ноября Колло д'Эрбуа прибывает в Лион, 10-го является туда Фуше. Они тотчас же приступают к делу. Но прежде чем начать настоящую трагедию, экс-комедиант и его помощник — бывший священнослужитель — разыгрывают маленькую сатирическую пьеску, пожалуй самую вызывающую и наглую за все время французской революции: нечто вроде черной мессы среди белого дня. Поминки по мученику Шалье служат предлогом для этой оргии атеи-

стического экстаза. Пролог разыгрывается в восемь часов утра: из всех церквей выносят остатки предметов культа, распятия срываются с алтарей, покровы и облачения выбрасываются; громадный кортеж проходит по всему городу к площади Терро. Четыре прибывших из Парижа якобинца несут на носилках, покрытых трехцветными коврами, бюст Шалье, украшенный грудями цветов, урну с его прахом и голубя в маленькой клетке, который будто бы служил утешением мученику в тюрьме. Торжественно и важно шествуют за носилками три проконсула для совершения нового обряда, который должен засвидетельствовать перед лионским населением божественность мученика свободы Шалье, «Dieu sauveur mort pour eux».¹ Но оскорбительность этой уже самой по себе неприятной патетической церемонии усугубляется чрезвычайно неудачной, глупой, безвкусной выдумкой: шумная толпа торжественно, с дикими танцами несет похищенную церковную утварь, чаши, дароносицы и религиозные изображения, за ней бежит осел, которому искусно напялили на уши епископскую митру. К хвосту бедного животного привязали распятие и библию, и на потеху воюющей толпе волочится по уличной грязи привязанное к ослиному хвосту евангелие.

Наконец, военные фанфары призывают народ остановиться. На большой площади, соорудив алтарь из травы, торжественно устанавливают бюст Шалье и урну. Три народных представителя благоговейно склоняются пред новоявленной святыней. Первым берет слово бывший актер Колло д'Эрбуа, за ним Фуше. Он, упорно молчавший в Конвенте, овладел своим голосом и в экстазе, обратив взор к бюсту, взывает: «Шалье, Шалье, тебя нет с нами! Преступники принесли в жертву тебя, мученика свободы, и пусть кровь этих преступников будет искупительной жертвой, которая успокоит твою разгневанную тень. Шалье, Шалье! Перед твоим изображением клянемся мы отомстить за пытки, и пусть кровь аристократов будет тебе ладаном». Третий народный представитель менее красноречив, чем будущий аристократ, герцог Отрантский.

¹ Бога-спасителя, умершего за вас.

Он лишь касается устами бюста и восклицает громовым голосом: «Смерть аристократам!»

После этих трех торжественных молений зажигается большой костер. Важно смотрит недавний монах Жозеф Фуше и его коллеги, как отвязывают евангелие от ослиного хвоста и бросают его в костер, чтобы там воспламенилось оно вместе с церковными облачениями, требниками, святыми дарами и деревянными изображениями. Этого мало: ослу, в награду за его богохульные заслуги, дают пить из священной чаши и, по окончании этой явной нелепости, четверо якобинцев на плечах несут обратно бюст Шалье в церковь, где его торжественно ставят на алтарь, вместо разбитого изображения Христа.

Для вящей памяти об этом доблестном торжестве в следующие за ним дни чеканят медаль; но теперь ее не достать, вероятно потому, что будущий герцог Отрантский скупил все экземпляры и уничтожил их, также как и книги, слишком подробно описывающие эти яркие героические выступления ультраякобинского и атеистического периода его деятельности.

Он сам обладал хорошей памятью, но для *Son Excellence Monseigneur le sénateur ministre*¹ христианнейшего короля неудобно и неприятно, чтобы другие помнили об этой лионской черной мессе.

Как ни отвратителен первый день пребывания Жозефа Фуше в Лионе, это всего лишь спектакль и нелепый маскарад, — кровопролития еще нет. Но уже на следующее утро консулы становятся недоступными, они запираются в уединенном доме; вооруженная стража охраняет его от незваных гостей, символически преграждая доступ всякой милости, всякой просьбе, всякому снисхождению. Организуется революционный трибунал, и зловещее письмо Конвенту возвещает, какую ужасную Варфоломеевскую ночь задумали народные короли Фуше и Колло: «Мы исполняем нашу миссию с энергией стойких республиканцев и не намерены спускаться с той высоты, на которую нас возвел народ, ради соблюдения жалких интересов более или менее виновных людей. Мы отстранили от себя всех, ибо не хотим ни терять времени, ни оказывать милости.

¹ Его светлости господина министра и сенатора.

Мы видим только республику, повелевающую нам дать леондам примерный и памятный урок. Мы слышим только крик народа, требующего быстрой и страшной мести за кровь патриотов, чтобы человечеству не пришлось впредь проливать потоки крови. Уверенные, что в этом подлом городе нет невинных, кроме угнетенного убийцами народа и брошенных в тюрьмы людей, мы относимся недоверчиво к слезам раскаяния. Ничто не может обезоружить нашу суровость. Мы должны вам сознаться, граждане коллеги, что на снисходительность мы смотрим как на опасную слабость, способную вновь воспламенить преступные надежды в тот момент, когда их нужно погасить навсегда. Оказать снисхождение одному человеку — значит оказать его всем подобным ему, и тогда воздействие вашего правосудия окажется недействительным. Разрушение подвигается слишком медленно, республиканское нетерпение требует решительных мер: лишь взрыв мина, пожирающая работа пламени могут выразить гнев народа. Исполнение его воли не должно задерживаться, как исполнение воли тиранов, оно должно быть разрушительным, как буря».

Эта буря происходит по намеченной программе 4 декабря, и ее отзвук грозно раздается по всей Франции. Рано утром выводят из тюрьмы шестьдесят юношей, связанных по двое. Но их ведут не к гильотине, работающей «слишком медленно», по выражению Фуше, а на равнину Бротто, по ту сторону Роны. Две параллельные на спех вырытые канавы дают жертвам понять ожидающую их судьбу, а поставленные в десяти шагах от них пушки указывают на метод этой массовой бойни. Беззащитных людей собирают, связывают в кричащий, трепещущий, воющий, неистовствующий, тщетно сопротивляющийся клубок человеческого отчаяния. Раздается команда, — и из угрожающих смертью, совсем близких пушечных жерл в объятую ужасом человеческую массу летит раздробленный свинец. Этот первый выстрел не убивает всех жертв, у некоторых только оторваны руки или ноги, у других разорваны внутренности, некоторые даже случайно уцелели. Но пока кровь широким струящимся потоком стекает в канавы, кавалеристы, по новой команде, набрасываются с саблями и пистолетами на уцелевшие жертвы, рубят и расстреливают дрожащее, стонущее, вопящее, беззащит-

ное человеческое стадо, пока не замирает последний крик. В награду за убой палачам разрешается снять платье и сапоги с еще теплых шестидесяти трупов, прежде чем закопать в канавах эти обезображенные, разорванные тела

Это первый из знаменитых расстрелов Жозефа Фуше, в будущем министра христианнейшего короля, и он гордо хвастает им на следующий день в пламенной прокламации: «Народные представители останутся твердыми в исполнении доверенной им миссии, народ вложил в их руки гром своей мести, и они сохранят его, пока не уничтожены все враги свободы. У них хватит мужества спокойно миновать широкие ряды могил заговорщиков, чтобы через развалины пробраться к счастью нации и обновлению мира». В тот же день это печальное «мужество» еще раз злодейски подтверждается пушками равнины Бротто, и на этот раз перед ними еще большее стадо. Двести десять голов убойного скота, выведенных со связанными за спиной руками и через несколько минут осыпанных картечью и залпами пехоты. Процедура остается той же, только на этот раз мясникам облегчают неприятную работу — их освобождают после столь утомительной резни от обязанностей могильщиков. Зачем этим негодьям могилы? Сняв окровавленные сапоги со сведенных судорогой ног, их обнаженные, подчас еще корчащиеся тела просто бросают в текучую могилу Роны.

Но и это жуткое деяние, перед которым содрогаются с отвращением страна и мировая история, Жозеф Фуше окутывает успокаивающим покровом восторженных слов. Заразив воды Роны нагими трупами, он возводит это в политический подвиг, — «ибо, — говорит он, — плывя до Тулона, они дают наглядный пример неумолимой страшной мести республиканцев». «Необходимо, — пишет он, — чтобы окровавленные тела, брошенные в Рону, доплыли вдоль обоих берегов до устья, до подлого Тулона: они возбудят ужас у трусливых и жестоких англичан и покажут силу народного могущества». Лиону такое запугивание не нужно, ибо казнь продолжает следовать за казнью, — гекатомба за гекатомбой. Взятие Тулона Фуше приветствует «слезами радости» и орудийным расстрелом, ради торжественного дня, двухсот мятежников. Тщетны все мольбы о пощаде.

Две женщины, слишком страстно молившие кровавое судилище освободить их мужей, поставлены связанные у гильотины; никого не подпускают к дому народных представителей для просьб о снисхождении.

Но чем безумнее становится грохот орудий, тем громче раздаются слова проконсулов: «Да, мы осмеливаемся это утверждать, — мы пролили не мало нечистой крови, но лишь во имя человечества и исполнения долга... Мы не вышустим из рук молнию, которую вы доверили нашим рукам, пока вы нам не прикажете этого. До тех пор мы будем непрерывно продолжать убивать наших врагов, мы их вытравим совершенным, ужаснейшим, быстрейшим способом».

И тысяча шестьсот казней в течение нескольких недель подтверждают, что на этот раз, в виде исключения, Жозеф Фуше сказал правду.

За организацией этой бойни и за восторженными донесениями Жозеф Фуше и его коллеги забывают о другом печальном поручении Конвента. В первый же день они посылают в Париж жалобу, утверждая, что предписанное разрушение города «слишком медленно» совершалось их предшественником — «теперь мины должны ускорить дело разрушения; саперы уже приступили к работе, и в течение двух дней здания Белькура¹ будут взорваны». Эти знаменитые фасады, начатые в царствование Людовика XIV, построенные учеником Мансарда,² были, как самые лучшие, предназначены к уничтожению первыми. Грубо изгоняются жители из домов, и сотни безработных, женщины и мужчины, в несколько недель бессмысленно разрушительной работы уничтожают великолепные художественные произведения. Несчастный город вопит и стонет от пушечных выстрелов и рушащихся зданий, пока комитет «de justice»³ сметает людей, а комитет «de démolition»⁴ — дома, комитет «des substances»⁵ проводит беспощадную реквизицию съестных припасов, материй и ценных вещей.

¹ Площадь в Лионе.

² Знаменитый французский архитектор.

³ Правосудия.

⁴ Разрушения.

⁵ Имущество.

Каждый дом обыскивается от погреба до чердака в поиске за притаившимися людьми и спрятанными драгоценностями; везде царит террор двух — Фуше и Колло, незримых и недоступных, прячущихся в доме, оберегаемом стражей. Лучшие замки уже сметены, тюрьмы, хотя и наполняющиеся заново, почти пусты, магазины очищены, и поля Бротто пропитались кровью тысяч казненных; в конце концов несколько граждан решаются (пусть это будет им стоить жизни!) отправиться в Париж и подать Конвенту прошение о сохранении оставшейся части города. Конечно, текст этого прошения очень осторожен, даже раболепен; они трусливо начинают с восхваления достойного Герострата декрета, «словно продиктованного гением римского сената». В дальнейшем они просят о «пощаде для искренне раскаявшихся, для заблудших, о пощаде — мы осмеливаемся так выразиться — для несправедливо осужденных».

Но консулы своевременно узнали о тайной жалобе, и Колло д'Эрбуа, самый красноречивый из них, летит курьерской почтой, чтобы своевременно отпарировать удар. На следующий день у него хватает смелости в Конвенте и среди якобинцев восхвалять как особую «гуманность» массовые казни, вместо того чтобы оправдывать их. «Мы хотели, — говорит он, — освободить человечество от ужасного зрелища слишком быстро сменяющих друг друга казней, поэтому комиссары решили уничтожить в один день осужденных и предателей; это желание вызвано подлинной чувствительностью (*véritable sensibilité*)». И у якобинцев он еще пламеннее, чем в Конвенте, восторгается этой «гуманной» системой. «Да, мы уничтожили двести осужденных одним залпом, и нас упрекают за это. Разве не понятно само собой, что это было актом гуманности! Когда гильотинируют двадцать человек, то осужденные переживают казнь двадцать раз, в то время как таким путем двадцать предателей погибают одновременно». И действительно, эти избитые фразы, поспешно выуженные из кровавой чернильницы революционного жаргона, производят впечатление: Конвент и якобинцы одобряют объяснения Коло и этим самым дают проконсулам благословение на дальнейшее истребление. В тот же день Париж чествует перенос праха Шалье в Пантеон. —

честь, оказанная до сих пор только Жан-Жаку Руссо и Марату, — и его возлюбленной так же, как и возлюбленной Марата, назначают пенсию. Таким образом этот мученик публично объявлен национальным святым, и все насилия Фуше и Колло одобрены как справедливая месть.

И все же: некоторая неуверенность овладела обоими деятелями, ибо опасная ситуация в Конвенте, колебание чашек весов между Дантоном и Робеспьером, между умеренностью и террором, требует удвоенной осторожности. И вот они решают поделить роли: Колло д'Эрбуа остается в Париже, чтобы следить за настроениями Комитета и Конвента, чтобы заранее со своей напористой ораторской страстностью разгромить всякое возможное нападение, продолжение же убийств предоставляется «энергии» Фуше. Важно установить, что в то время Жозеф Фуше был неограниченным самодержцем, ибо впоследствии ловким приемом он пытается приписать все насилия своему более правдивому коллеге; но факты показывают, что и в то время, когда он повелевал единолично, коса смерти бушевала не менее убийственно. Расстреливают пятьдесят четыре, шестьдесят, сто человек в день; и в отсутствие Колло, как и прежде, рушатся стены, отбираются дома и опустошаются казнями тюрьмы, и все еще Жозеф Фуше старается перекричать свои собственные деяния восторженными кровавыми словами: «Приговоры этого суда внушают преступникам страх, но они успокаивают и утешают народ, внемлющий им и их ободряющий. Неправы те, кто предполагают, что мы хоть раз оказали кому-нибудь честь помилования: мы неповинны в этом!»

Но внезапно — что же произошло? — Фуше меняет тон. Своим тонким чутьем он издали уловил, что ветер в Конвенте изменил направление, ибо с некоторых пор его резкие смертоносные фанфары не дают ясного отзвука. Его якобинские друзья, его атеистические товарищи по убеждениям, Эбер, Шомет, Ронсен, вдруг умолкли, — умолкли навсегда, — ибо беспощадная рука Робеспьера неожиданно схватила их за горло. Ловко балансируя между слишком бурными и слишком благосклонными и прокладывая себе дорогу то вправо, то влево, этот добродушный тигр внезапно накинулся из мрака на ультрапара-

дикалов. Он настоял, чтобы Карье, который так же радикально топил нантцев, как Фуше расстреливал лионцев, был вызван в Конвент для личного отчета; он через верного своего слугу Сен-Жюста отправил в Страсбурге на гильотину буйного Евлогия Шнейдера; он публично заклеил, назвав нелепостью, атеистические народные праздники, устроенные Фуше в провинции и в Лионе, и отменил их в Париже. Как всегда, робко и послушно следуют его указаниям встревоженные депутаты.

Снова обуял Фуше обычный его страх: вдруг он окажется не в большинстве. Террористы побеждены — зачем оставаться террористом? Лучше быстро перебраться к умеренным, к Дантону и Демулену, требующим теперь «милостивого трибунала», быстро примениться к новому направлению ветра. Внезапно, 6 февраля, он приказывает прекратить картечные расстрелы, и только гильотина (о которой он писал в своих памфлетах, что она работает слишком медленно) нерешительно продолжает свое дело, — каких-нибудь две, три головы в день, не больше, — это, конечно, пустяки в сравнении с прежними национальными торжествами на равнине Брэтто. Вместо этого, он сразу направляет всю свою энергию против радикалов, против устроителей его оргий и исполнителей его приказов; революционный Савл превращается в гуманного Павла. Он попросту переходит на сторону противников, объявляет друзей Шалье «ареной анархии и мятежей» и скоропалительно распускает десяток-другой революционных комитетов. И вот происходит что-то чрезвычайно странное: встревоженное, до-смерти напуганное население Лиона вдруг видит в герое картечных расстрелов Фуше своего спасителя. А лионские революционеры пишут одно свирепое послание за другим, обвиняя его в снисходительности, в предательстве и «угнетении» патриотов».

В этих отважных превращениях, в этих наглых переходах среди бела дня в другой лагерь, в этих перебежках к победителю — секрет методов борьбы Фуше. Только они спасли ему жизнь. Он играл на оба табло. Если в Париже его обвинят в слишком большой снисходительности, он укажет на тысячи могил и на разрушенные лионские здания. Если его обвинят в кровожадности — он сошлется

на жалобы якобинцев, обвиняющих его в «модерантизме»,¹ в излишней снисходительности; он может в зависимости от направления ветра вытащить из правого кармана доказательство своей неумолимости, или из левого — гуманности; он может выступить в роли палача Лиона и в роли его спасителя. И действительно, этот ловкий фокус дал ему возможность свалить всю ответственность за бойню на шею своего более искреннего прямолинейного коллеги Колло д'Эрбуа. Однако, ему удается обмануть лишь более поздние поколения: неумолимо бодрствует в Париже враг — Робеспьер, не простивший Фуше того, что он вытеснил из Лиона его ставленника Кутона. Он знает по Конвенту этого двуязычного депутата, зорко следит за всеми превращениями и перебежками Фуше, торопящегося теперь укрыться от грозы. Но у недоверия Робеспьера — железные когти: от них не спрячешься. Двенадцатого жерминаля он заставляет Комитет общественного спасения выпустить грозный декрет, повелевающий Фуше немедленно явиться в Париж и дать отчет о лионских происшествиях. Творивший в течение трех месяцев суд и расправу должен теперь сам предстать перед судом.

Перед судом? За что? За то, что он за три месяца казнил две тысячи французов? Быть может его будут судить как коллегу Карьера и других массовых палачей? Только в этот момент можно познать политическую гениальность последнего, поражающе наглого поворота Фуше: нет, он должен оправдаться в том, что подавил «*Société populaire*», что преследовал якобинских патриотов. «*Mittraillleur de Lyon*», палач двух тысяч жертв, обвиняется — незабываемый исторический фарс! — в самом благородном преступлении, известном человечеству: в излишней гуманности.

¹ Термин, которым деятели «горы» обозначали требования умеренности в терроре, выставляемые жирондистами и сторонниками Дантона.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
БОРЬБА С РОБЕСПЬЕРОМ

1794

3 апреля Жозеф Фуше узнает, что Комитет общественного спасения требует его для отчета в Париж, 5 — он садится в дорожную карету. Шестнадцать глухих ударов сопровождают его отъезд, шестнадцать ударов гильотины, в последний раз работающей по его приказанию. И еще два самых последних приговора торопливо приводятся в исполнение в этот день, два очень странных приговора, — ибо кто же эти спасшиеся от великого избиения граждане, которые (по шутливому выражению эпохи) «выплюнут в тот день свои головы в корзину», кто же они? Лионский палач и его помощник. Те самые, которые с одинаковым равнодушием гильотинировали по приказу реакции Шалье и его друзей, а по приказу революции сотни реакционеров, теперь дождались и своей очереди попасть под нож. При самом искреннем желании из судебных протоколов не выяснить, в чем они обвинялись; вероятно, они были принесены в жертву, чтобы некому было рассказать преемникам Фуше и грядущим поколениям о лионских событиях. Мертвые хранят молчание.

Карета помчалась. У Фуше есть о чем поразмыслить по дороге в Париж. Все же, — утешает он себя, — еще ничего не потеряно: у него много влиятельных друзей в Конвенте, прежде всего Дантон — великий противник Робеспьера: быть может все же удастся держать это страшлище в постоянном страхе. Но откуда знать ему, что

в эти роковые часы революции события катятся на-много быстрее колес почтовой кареты? Что вот уже два дня, как его близкий друг Шомет сидит в тюрьме, что громадная львиная голова Дантона вчера положена Робеспьером под плаху, что в тот же день Кондорсе, духовный вождь правых, бродит голодный в окрестностях Парижа и на следующий день отравляется, чтобы избежать суда. Всех их свалил один единственный человек, и как раз этот единственный — его злейший политический противник. Только 8 числа вечером, добравшись, наконец, до Парижа, он узнает размеры опасности, в объятия которой попал. Блг свидетель, сколь краток был сон проконсула Жозефа Фуше в эту первую ночь в Париже.

На следующее утро Фуше прежде всего отправляется в Конвент и с нетерпением ожидает начала заседания. Но странно, — большой зал не наполняется; половина, если не больше, скамей пуста. Разумеется: многие депутаты могли отправиться исполнять поручения Конвента или по каким-либо другим делам, но все же — какая зияющая пустота там, справа, где сидели вожди жирондистов, блестящие ораторы революции! Куда они исчезли? Двадцать два самых отважных — Верньо, Бриссо, Петион — погибли на эшафоте, покончили самоубийством или растерзаны волками во время бегства. Шестьдесят три соратника, осмелившиеся их защищать, изгнаны большинством голосов, — одним ударом Робеспьер освободился от сотни своих противников справа. Но не менее энергично его рука поднялась на собственные ряды, на «гору»: Дантон, Демулен, Шабо, Эбер, Фабр д'Энглянтин, Шомет и десятка два других, — все, восставшие против его воли, против его догматического тщеславия, отправлены им в могилу.

Всех устранил этот невзрачный человек, этот маленький тощий мужчина с желчным лицом, низким нависшим лбом, маленькими, бесцветными близорукими глазами, долго остававшийся незамеченным за гигантскими фигурами своих предшественников. Но коса времени расчистила ему путь: с тех пор как устранены Мирабо, Марат, Дантон, Демулен, Верньо, Кондорсе, другими словами — трибун, мятежник, вождь, писатель, оратор и мыслитель молодой республики, он, объединив их всех в своем лице,

стал Pontifex maximus,¹ диктатором и триумфатором. С тревогой смотрит Фуше на своего противника; угодливые депутаты толпятся вокруг него, назойливо выказывая ему знаки почтения, а он с невозмутимым равнодушием принимает их заверения в преданности; защищенный своей «добродетелью», как панцырем, неприступный, непроницаемый, оглядывает этот неподкупный муж своим близоруким взором арену, в гордом сознании, что никто не осмелится восстать против его воли.

Но один все же осмеливается — единственный, которому нечего терять: Жозеф Фуше; он требует слова для оправдания своих лионских мероприятий.

Это желание оправдаться перед Конвентом — вызов Комитету общественного спасения, ибо не Конвент, а Комитет потребовал от него объяснений. Но он обращается к высшей, к надлежащей инстанции, к собранию нации. Смелость этого требования очевидна. Однако президент дает ему слово. Ведь Фуше не первый попавшийся: слишком часто произносили его имя в этом зале, еще не забыты его заслуги, его донесения, его деяния. Фуше поднимается на трибуну, и делает обстоятельный доклад. Собрание выслушивает, не прерывая его, не выказывая ни одобрения, ни порицания. Но кончилась речь, — и никто не пошевелился. Ибо Конвент напуган. Год работы гильотины лишил этих людей духовного мужества. Некогда свободно отдававшиеся своим убеждениям как порывам страсти, смело бросавшиеся в битву слов и мнений, — все они теперь не любят высказываться. С тех пор как палач, словно Полифем, вторгся в их ряды, хватая людей и справа и слева, с тех пор как гильотина мрачной тенью стоит за каждым их словом, они предпочитают молчать. Каждый прячется за другого, каждый бросает взгляды то направо, то налево, прежде чем сделать малейшее движение, страх, подобно гнетущему туману, кладет серый отпечаток на их лица; ничто так не унижает людей, в особенности толпу людей, как страх перед незримым.

И на этот раз они не осмеливаются высказать своего мнения. Лишь бы не вторгаться во владения Комитета,

¹ Верховный жрец. *Прим. перев.*

этого незримого трибунала! Оправдательная речь Фуше не принимается, но она и не отвергается, — ее пересылают на рассмотрение Комитету. Другими словами, она причаливает к тому берегу, который Фуше так тщательно старался обойти. Его первая битва проиграна.

Теперь и его обуял страх. Он слишком далеко забрел, не зная местности: лучше быстро пуститься в обратный путь. Лучше капитулировать, чем вступать в единоборство с могущественным вождем. И вот Фуше в раскаянии преклоняет колени, склоняет голову. В тот же вечер он отправляется на квартиру Робеспьера, чтобы высказаться или, говоря откровенно, просить прощения. Никто не присутствовал при этом разговоре. Известен лишь его результат, но по аналогичному посещению, с жуткой выпуклостью описанному в мемуарах Барраса, можно его вообразить. Прежде чем подняться по деревянной лестнице маленького дома на улице Сент-Оноре, где Робеспьер выставляет напоказ свою добродетель и свою нищету, Фуше должен подвергнуться допросу хозяев, оберегающих своего бога и жилья, как священную добычу. Вероятно Робеспьер принял его, как и Барраса, в тесной, тщеславно украшенной лишь его собственными портретами комнате, не пригласив сестр, стоя, холодно, с нарочито оскорбительным высокомерием, как жалкого преступника. Ибо этот муж, страстно влюбленный в добродетель, столь же страстно и порочно влюбленный в собственную добродетель, не знает пощады и прощения для человека, когда-то державшегося иных взглядов, чем он. Нетерпимый и фанатичный, Савонаролла разума и «добродетели», он отвергает всякое соглашение, не признает даже капитуляции своего противника; даже там, где политика властно требует соглашения, ненавистное упорство и догматическая гордость не позволяют ему уступить. Что бы ни говорил тогда Фуше Робеспьеру и что бы ни ответил ему судья, одно несомненно: его встретили не добром, а уничтожающим, беспощадным выговором, неприкрытой холодной угрозой, смертным приговором *in effigie*. И возвращаясь по улице Сент-Оноре, дрожа от гнева, униженный, отвергнутый, обреченный Жозеф Фуше понял, что с этой поры есть лишь одно спасенье для его головы: голова Робеспьера должна раньше свалиться в корзину, чем его соб-

ственная. Война не на жизнь, а на смерть объявлена. Поединок между Робеспьером и Фуше начался.

Этот поединок Робеспьера и Фуше — один из самых интересных, самых волнующих психологических эпизодов в истории революции. Оба незаурядно умные, оба политики, они все же оба — вызванный и вызывающий — впадают в общую ошибку: они недооценивают друг друга, полагаясь на старое знакомство. Для Фуше Робеспьер все еще измученный, тощий провинциальный адвокат, забавлявшийся с ним вместе шутками в Арасском клубе, фабриковавший слащавые стишки в духе Грекура¹ и впоследствии утомлявший Национальное Собрание 1789 года своим пустословием. Фуше слишком поздно заметил или, быть может, вовсе не заметил, как в результате упорной, непрерывной работы над собой и воодушевления своей задачей Робеспьер из демагога превратился в государственного деятеля, из ловкого интригана — в прозорливого политика, из красноречивого оратора. Ответственность большей частью возвышает человека, и Робеспьер вырос от сознания важности своей миссии, ибо среди жадных барышников и крикунов он чувствует, что судьба сделала спасение республики задачей его жизни. Осуществление своего представления о республике, о революции, правдивности и даже божестве считает он своей святой миссией перед человечеством. Эта непреклонность Робеспьера является и красотой, и слабостью его характера. Ибо опьяненный собственной неподкупностью, околдованный своей догматической твердостью, он всякое инакомыслие считает не разногласием, а предательством, и ледяной рукой инквизитора отправляет каждого противника, как еретика, на современный костер — гильотину. Нет сомнения: великая, чистая идея воодушевляет Робеспьера 1794 года. Вернее сказать, она его не воодушевляет, она застыла в нем. Она не может покинуть его, также как и он ее (судьба всех догматических душ), и этот недостаток заражающей теплоты, увлекающей человечности лишает его поступки истинно созидательной силы. Его мощь только в упорстве, его сила — в непреклонности: диктатура стала

¹ Французский поэт начала XVIII века, известный преимущественно своими фривольными стихами. *Прим. перев.*

для него смыслом и формой жизни. Он должен наложить на революцию отпечаток своей личности или погибнуть.

- Такой человек не терпит противоречий, не терпит несогласия, не терпит даже соратников, а тем более противников. Он выносит лишь людей, отражающих его собственные воззрения, пока они остаются рабами его духа, как Сен-Жюст и Кутон; всех остальных неумолимо вытесняет его перенасыщенный щелочью желчный темперамент. Но горе тем, кто не только не разделял его воззрений (он и этих преследовал), но и сопротивлялся его воле или же сомневался в его непогрешимости. Именно этим и провинился Жозеф Фуше. Он никогда не спрашивал у него совета, никогда не сгибал спины перед бывшим другом, он сидел на скамьях его врагов, смело перешагнул поставленные Робеспьером границы среднего, осторожного социализма, проповедуя коммунизм и атеизм. Но до сих пор Робеспьер не интересовался им всерьез, Фуше казался ему слишком незначительным. В его глазах этот депутат остался скромным монастырским преподавателем, которого он помнил еще в сутане, знал как жениха своей сестры, как ничтожного мелкого честолюбца, изменившего богу, невесте и всем убеждениям. Он ненавидит его, как может непоколебимость ненавидеть гибкость, непреложность — погоню за успехом, религиозная натура — богохульника; но эта ненависть была направлена до сих пор не на личность Фуше, а лишь на породу, представителем которой он был. Робеспьер высокомерно тренебрегал им до этих пор: зачем трудиться из-за интригана, которого можно раздавить каждую минуту? Робеспьер до сих пор наблюдал за Фуше, но не боролся с ним всерьез лишь потому, что так долго его презирал.

Только теперь оба замечают, как недооценивали они друг друга. Фуше видит огромную силу, приобретенную Робеспьером за время его отсутствия; все подвластно ему: армия, полиция, суд, комитеты, Конвент и якобинцы. Побороть его невозможно. Но Робеспьер принудил его к борьбе, и Фуше знает, что погибнет, если не победит. Всегда великое отчаяние порождает великую силу, и вот он, в двух шагах от пропасти, с мужеством отчаяния набрасывается на преследователя, как затравленный олень на охотника.

Первые враждебные шаги делает Робеспьер. Пока он собирается лишь проучить выскочку, дать предостережение, пинок ногой. Как предлогом, он воспользовался своей знаменитой речью 6 мая, призывавшей все духовенство республики «признать высшее существо и бессмертие как основу вселенной». Никогда Робеспьер не произносил речи прекраснее, вдохновеннее той, которую он будто бы написал на вилле Жан-Жака Руссо: здесь догматик становится почти поэтом, туманный идеалист — мыслителем. Отделить веру от неверия и в то же время от суеверия, создать религию, возвышающуюся, с одной стороны, над обычным для христианства обототворением изображений и, с другой, над пустым материализмом и атеизмом, — сохранить таким образом середину, которой он всегда пытается придерживаться в духовных вопросах, — вот основная идея его обращения, обнаруживающего, несмотря на напыщенную фразеологию, искреннюю нравственность и страстное стремление возвысить человечество. Но даже витая в высоких сферах, этот идолог не сумел освободиться от политики, даже в эти вневременные мысли его желчная, угрюмая злоба привносит личные нотки. Враждебно вспоминает он о мертвых, которых сам толкнул на гильотину, и издевается над жертвами своей политики, Дантоном и Шометом, как над презренными образцами безнравственности и богохульства. И вдруг он обрушивает сокрушительный удар на единственного проповедника атеизма, пережившего его гнев, — на Жозефа Фуше. «Поведай нам, кто дал тебе миссию возвестить народу, что бога нет! Чего хочешь ты достигнуть, убеждая людей, что слепая сила определяет их судьбу, случайно карая то добродетель, то порок, и что душа не что иное, как слабое дыхание, угасающее у врат могилы! Несчастный софист, кто дает тебе право вырвать у невинности скипетр разума, чтобы доверить его рукам порока? Набросить траурное покрывало на природу, сделать несчастье еще отчаяннее, преступление — безвинным, затемнить добродетель и унижить человечество!.. Только преступник, презренный для самого себя и отвратительный для всех других, способен верить тому, что лучшее, чем может нас одарить природа, — это ничто».

Бесконечные аплодисменты награждают блестящую

речь Робеспьера. Конвент сразу чувствует себя освобожденным от мелочности повседневных споров и единогласно принимает решение устроить предложенное Робеспьером торжество в честь высшего существа. Один Жозеф Фуше хранит молчание и кусает губы. Такой триумф противника вынуждает к молчанию. Он знает, что публично не может состязаться с этим мастером риторики. Безмолвный, бледный, он принимает в открытом собрании эту пощечину, внутренне решая отомстить, отплатить за нее.

Несколько дней, несколько недель о Фуше ничего не слышно. Робеспьер полагает, что он устранен: пинка ногой было достаточно для наглеца. Но если Фуше незрим, если его голос не слышен, значит он ведет подпольную работу, упорно, планомерно, как крот. Он посещает комитеты, заводит новые знакомства среди депутатов, он любезен, обязателен с каждым в отдельности и каждого старается перетянуть на свою сторону. Больше всего он возвращается среди якобинцев, где ловкое, гибкое слово имеет большое значение и где милостиво относятся к его лионским подвигам. Никто не знает точно, к чему он стремится, какие у него намерения, что предпримет этот сусликий, шныряющий, повсюду протягивающий нити, невзрачный человек.

И внезапно все разъясняется, — неожиданно для всех и неожиданное всего для Робеспьера: ибо 18 прериаля громадным большинством голосов Жозеф Фуше избирается президентом Якобинского клуба.

Робеспьер насторожился: этого ни он, ни кто-либо другой не ожидал. Теперь лишь он дает себе отчет, сколь хитрого, сколь смелого противника он обрел в лице Фуше. Вот уже два года не было случая, чтобы человек, публично им задетый, отважился защищать свои права. Все они быстро исчезали, лишь только его взор останавливался на них; Дантон скрылся в своем имении, жирондисты рассеялись по провинциям, остальные сидели дома и не подавали голоса. И этот наглец, которого он в открытом собрании заклеил как нечистоплотного человека, теперь спасается в алтаре, в святыне революции, в Якобинском клубе и добивается там самого высокого назначения, которое может получить патриот? Ведь не следует забывать в самом деле, какую громадную моральную мощь приобрел

этот клуб как-раз в последний год революции. Пробу самой высокой, самой чистой полноценности патриота ставит Якобинский клуб, удостоивая званием члена клуба, но кого он изгоняет, кого он порицает, — тот заклеимен, как кандидат на плаху. Генералы, народные вожди, политики, — все они склоняют голову перед этим судом, как перед высшей, непогрешимой инстанцией гражданского чувства. Члены клуба являются как бы преторианцами революции, лейб-гвардией, стражей храма. И эти преторианцы, эти строжайшие, честнейшие, непреклоннейшие республиканцы избрали Жозефа Фуше своим вождем! Гнев Робеспьера безграничен. Ибо среди бела дня этот негодий ворвался в его царство, в его владения, туда, где он сам обвиняет своих врагов, где он закаляет собственную силу в избранном кругу. И теперь, собираясь произнести речь, он должен будет просить разрешения у Жозефа Фуше, — он, Максимилиан Робеспьер, должен будет подчиниться хорошему или дурному настроению Жозефа Фуше?

Тотчас же он напрягает все свои силы. Это поражение требует кровавого возмездия. Долой его немедленно, — не только с кресла президента, но и из общества патриотов! Он сейчас же натравливает на Фуше нескольких лионских граждан, возбуждающих против него обвинение, и когда застигнутый врасплох, всегда беспомощный в открытой ораторской борьбе Фуше неловко защищается, он сам берет слово и уговаривает якобинцев, чтобы они «не дали обмануть себя жуликам». Этим первым ударом ему почти удается свалить Фуше. Но пока он все же обладает полномочиями президента и благодаря этому может своевременно прекратить дебаты. Бесславно обрывает он прения и возвращается во мрак, чтобы подготовить новое нападение.

Теперь Робеспьер осведомлен. Он понял метод борьбы Фуше; он знает, что этот человек не вступает в поединок, но всегда обращается в бегство и тайно, в тени, подготавливает нападение с тыла. Недостаточно отразить и отбить нападение такого упорного интригана; его нужно преследовать до последнего прикрытия и раздавить ногой. Необходимо его задушить, обезвредить окончательно и навсегда.

Поэтому Робеспьер нападает вторично. Он повторяет свое обвинение перед якобинцами и требует присутствия

Фуше в следующем заседании для объяснений. Фуше, разумеется, избегает этого. Он знает свою силу, знает и свою слабость, он не желает доставить Робеспьеру публичное торжество, не желает перенести открытое унижение в присутствии трех тысяч человек. Лучше пока скрываться в темноте, лучше быть пока побежденным и выиграть время, драгоценное время! Поэтому он вежливо пишет якобинцам, что, к сожалению, должен уклониться от публичных объяснений; он просит якобинцев отложить суд, пока оба комитета не придут к соглашению в оценке его поступков.

На это письмо Робеспьер набрасывается как на добычу. Именно теперь необходимо схватить, окончательно уничтожить Жозефа Фуше. Речь против Жозефа Фуше, произнесенная им 23 мессидора (11 июня) — это самое ожесточенное, самое грозное и желчное нападение Робеспьера на своего противника.

Первые же слова показывают, что Робеспьер стремится не только поразить своего врага, но и сразить его, не только унижить, но и уничтожить. Он начинает с приторным спокойствием. Вступление еще довольно снисходительно, он говорит, что «индивидуум» Фуше его не интересует:

«Я, быть может, когда-то был с ним до известной степени связан, так как считал его патриотом, и не его былые преступления заставляют меня теперь выступить с обвинением, а опасение, что он скрывается для совершения новых, и уверенность, что он является главой заговора, который мы должны уничтожить. Вдумавшись в только что оглашенное письмо, я должен сказать, что оно написано человеком, не желающим оправдаться перед своими согражданами, когда ему предъявлено обвинение. Этим положено начало системе тирании, ибо кто не желает оправдаться перед народным собранием, членом которого он состоит, тот оскорбляет авторитет этого народного собрания. Удивительно, что тот, кто прежде домогался одобрения нашего общества, теперь перед лицом обвинения пренебрегает им и чуть ли не обращается в Конвент за помощью против якобинцев». И вот, внезапно прорывается личная ненависть Робеспьера, даже внешнее уродство Фуше он использует как желанный повод к уничтожению

врага. «Неужели он боится, — продолжает издеваться Робеспьер, — глаз, ушей народа, боится, что жалкий вид явно будет свидетельствовать о его преступлениях? Что шесть тысяч обращенных на него глаз прочтут в его взоре всю душу, хотя природа и наделила их коварной скрытностью? Не боится ли он, что его речь обнаружит смущение и противоречиями выдаст виновного? Всякий благо-разумный человек должен признать, что страх — единственное основание его поведения; каждый избегающий взоров своих сограждан — виновен. Я призываю Фуше к ответу. Пусть он защищается и скажет, кто из нас достойнее пользовался правами народного представителя и кто из нас мужественнее уничтожал партийные раздоры». Он называет Фуше «низким и презренным обманщиком», поведение которого равнозначно признанию вины, коварно намекает на «тех, чьи руки полны добычей и преступлениями», и кончает грозными словами: «Фуше достаточно охарактеризовал себя, я высказал эти замечания лишь для того, чтобы раз навсегда дать понять заговорщикам, что они не ускользнут от бдительности народа». Хотя эти слова предвещают смертный приговор, но собрание все же слушается Робеспьера. И без промедления оно изгоняет своего прежнего президента, как недостойного, из клуба якобинцев.

Теперь Фуше отмечен для гильотины, как дерево для срубки. Исключение из клуба якобинцев — это клеймо; обвинение Робеспьера, и к тому же столь озлобленно, — это приговор. Фуше среди белого дня завернут в саван. Каждый ежечасно ждет его ареста, и больше всех он сам. Уже давно он не ночует в своей постели, опасаясь, что за ним, как за Дантоном, как за Демуленом, явятся ночью жандармы. Он прячется у некоторых храбрых друзей, — ибо надо обладать мужеством, чтобы дать убежище опальному, мужеством даже для того, чтобы открыто с ним разговаривать. За каждым его шагом следит руководимая Робеспьером полиция Комитета общественного спасения и доносит о его знакомствах, его свиданиях. Он незримо окружен, все его движения связаны, он уже положен под нож.

В самом деле: ни один из семисот депутатов не находится в такой опасности, как Фуше; у него нет пути к спасению. Он еще раз попробовал кое-где найти помощь:

прежде всего у якобинцев, — но суровый кулак Робеспьера лишил его этой поддержки, теперь голова точно чужая сидит на его плечах. Ибо чего он может ждать от Конвента, от этого трусливого, запуганного стада овец, терпеливо блеющего свое «да», когда Комитет хочет отправить на гильотину кого-нибудь из их среды? Они без сопротивления выдали революционному трибуналу всех вождей — Дантона, Демулена, Верньо — лишь бы сопротивлением не привлечь к себе излишнего внимания. Почему же Фуше должен избежать этой участи? Безмолвно, боязливо, смущенно сидят на своих скамьях эти, некогда столь храбрые и страстные депутаты. Отвратительный, разрушающий нервы, разлагающий душу яд страха парализует их волю.

Но — это остается вечной тайной яда — он обладает и целебными свойствами, если искусно очистить и соединить воедино скрытые в нем силы. И здесь — как это ни парадоксально — именно страх перед Робеспьером может стать спасением от Робеспьера. Нельзя простить человека, непрерывно, неделями, месяцами заставляющего трепетать от страха, терзающего душу неизвестностью и парализующего волю: никогда человечество или часть его — отдельная группа — не могут долго выносить диктатуру одного человека, не проникаясь ненавистью к нему. И эта ненависть укрощенных сказывается подземным брожением во всех округах. Пятьдесят, шестьдесят депутатов, не осмеливающихся, подобно Фуше, почевать дома, кусают губы, когда Робеспьер проходит мимо них, многие сжимают кулаки за его спиной, аплодируя его речам. Чем беспощаднее, чем дольше властвует «Неподкупный», тем больше растет возмущение против его сверхмощной воли. Все мало-по-малу оказываются задетыми и обиженными, — правое крыло тем, что он повел на эшафот жирондистов, левое тем, что он бросил в корзину головы крайних радикалов, Комитет общественного спасения тем, что он навязывает ему свою волю, купцы тем, что он угрожал их благосостоянию, честолюбцы тем, что он им закрывал дорогу, завистливые тем, что он властвует, и миролюбивые тем, что он не заключает с ними союза. Если бы удалось собрать в единую волю эту столбовую ненависть, их разливающийся всюду страх превратить в кинжал, острие

которого пронзило бы грудь Робеспьера, они были бы все спасены — Фуше, Баррас, Тальен и Карно, — все его тайные враги. Но чтобы добиться этого, нужно прежде всего внушить большинству этих слабохарактерных людей убеждение в том, что Робеспьер угрожает их жизни; нужно внушить еще больший ужас и большее недоверие, искусственно повысить напряжение, порожденное его деятельностью. Нужно, чтобы остальные еще сильнее ощутили удушающее своей неопределенностью впечатление от мрачных речей Робеспьера, нужно еще увеличить ужас и страх, — тогда, быть может, масса обрела бы достаточно мужества для нападения на этого человека.

Тут начинается настоящая деятельность Фуше. С раннего утра до поздней ночи он крадется от одного депутата к другому, шепчет о новых тайных проскрипционных списках, подготовляемых Робеспьером. И каждому в отдельности он поверяет: «Ты в списке» или: «Ты назначен в следующую партию». И действительно, постепенно распространяется незримый панический страх, ибо в глазах этого Катона, в глазах его абсолютной неподкупности, немногие депутаты имеют вполне чистую совесть. Быть может один из них был несколько неосторожен в обращении с деньгами, другой когда-нибудь противоречил Робеспьеру, третий слишком много времени посвящал женщинам (все это преступления в глазах республиканского пуританина), четвертый, быть может, когда-то был дружен с Дантоном или с кем-нибудь другим из ста пятидесяти осужденных, пятый приютил у себя отмеченного печатью смерти, шестой, пожалуй, получил письмо от эмигранта. Короче говоря, каждый трепещет, каждый считает нападение на него возможным, все чувствуют себя недостаточно чистыми, чтобы вполне удовлетворить чрезмерно строгим требованиям, предъявляемым Робеспьером к гражданской добродетели. И Фуше продолжает перебегать, как шпилька веретена, от одного к другому, протягивая новые нити, завязывая новые петли, все больше захватывая, обволакивая депутатов этой паутиной недоверия и подозрительности. Но затеянная им игра опасна, ибо он плетет лишь паутину — и одно резкое движение Робеспьера, одно предательское слово может разорвать всю сеть.

Эта таинственная, отчаянная, опасная и закулисная

роль Фуше в заговоре против Робеспьера недостаточно подчеркнута в большинстве работ, посвященных изображению этой эпохи, а в поверхностных работах имя Фуше даже не упоминается. История почти всегда пишется только на основании внешних фактов, и изобразители тех тревожных дней описывают обычно только драматический, патетичный жест Тальена, размахивающего на трибуне мечом, который он собирается вонзить в свою грудь, резкую энергию Барраса, организующего отряды, обвинительную речь Бурдона; они, короче говоря, описывая действующих лиц, актеров большой драмы, разыгранной 9 термидора, не замечают Фуше. И действительно, в этот день он не появлялся на сцене Конвента; его работа, более трудная, протекала за кулисами, — это была работа режиссера, руководителя актеров в этой смелой, опасной игре. Он распределил сцены, разучил с актерами роли, где-то в тени прорепетировал их и, оставаясь во тьме, в своей родной сфере, подавал реплики. Но если позднейшие историки не заметили его роли, все же один человек уже тогда ощутил его действительное присутствие, — то был Робеспьер, назвавший его среди белого дня настоящим именем: «*Chef de la conspiration*» — главой заговора.

Этот недоверчивый, подозрительный ум отгадывает, что в тиши составляется заговор против него. Он замечает это по внезапно вспыхнувшему сопротивлению комитетов и еще яснее, быть может, по чрезмерной вежливости и покорности иных депутатов — его несомненных врагов. Робеспьер чувствует, что готовится какой-то удар в спину, он знает руку, которая его нанесет, руку *Chef de la conspiration*, и принимает меры. Осторожно он выпускает свои щупальцы: собственная полиция, частные шпионы доносят Робеспьеру шаг за шагом каждый выход, каждую встречу, каждый разговор Тальена, Фуше и других заговорщиков; анонимные письма предостерегают его или советуют немедленно объявить себя диктатором и уничтожить врагов, раньше чем они объединятся. Для того, чтобы их смутить и обмануть, он вдруг надевает личину равнодушия к политической власти. Он больше не появляется ни в Конвенте, ни в Комитете. Сжав губы, он одиноко бродит со своим ньюфаундлендом и с книгой в руках; его встречают на улицах или в окрестных лесах, увле-

ченного своими излюбленными философами, повидимому равнодушного к власти и могуществу. Но вечером, возвращаясь в свою комнату, он работает часами над подготовкой большой речи. Бесконечно долго работает он над ней, — по рукописи видно, сколько он сделал изменений и добавлений, — эта большая, решающая речь, которой он хочет сразу уничтожить всех своих врагов, должна быть неожиданной и острой как нож, она должна быть плодом ораторского вдохновения, сверкать умом и отточенной ненавистью. С этим оружием в руках он хочет заставить врагов врасплох, прежде чем они соберутся и сговорятся. Но лезвие все еще кажется ему недостаточно острым, недостаточно ядовитым, и долгие, драгоценные дни проходят за этой жуткой работой.

Но больше нельзя терять времени, ибо все шпионы доносят о тайных собраниях. 5 термидора в руки Робеспьера попадает письмо Фуше, адресованное его сестре и заключающее таинственные слова: «Мне нечего бояться клеветы Максимилиана Робеспьера... скоро ты услышишь об исходе этого дела, которое, как я надеюсь, кончится в пользу республики». Итак — скоро: Робеспьер предупрежден. Он призывает к себе своего друга Сен-Жюста и запирается с ним в тесной мансарде на улице Сент-Оноре. Там выбирается день и способ нападения, 8 термидора Робеспьер должен изумить и разбить Конвент своей речью. А 9-го Сен-Жюст выступит с требованием казни его врагов, казни строптивых членов комитета, а главное, — казни Жозефа Фуше.

Напряжение становится почти невыносимым, заговорщики также чувствуют сверканье молний за тучами. Но они все еще медлят напасть на сильнейшего мужа Франции, на могущественнейшего человека, завладевшего всей мощью, сосредоточившего в своих руках управление городом и армией, якобинцами и народом и обладающего славой и силой незапятнанного имени. Они все еще не чувствуют в себе достаточной уверенности, они все еще недостаточно многочисленны, недостаточно решительны, недостаточно смелы, чтобы в открытой борьбе схватиться с этим гигантом революции; иные уже осторожно поговаривают об отступлении и примирении. Заговор, с трудом склеенный, грозит развалиться.

В этот миг судьба — самый гениальный поэт — бросает решающую гирию на колеблющуюся чашу весов. Именно Фуше предопределено взорвать мину. Ибо в эти дни, отчаянно затравленный всеми гончими, ежечасно чувствующий угрозу гильотины, он, помимо своих политических невзгод, переживает еще одно великое несчастье. Суровый, холодный, коварный и замкнутый в делах общественных и в политике, этот удивительный человек превращается дома в трогательнейшего супруга, нежного семьянина. Он страстно любит свою исключительно некрасивую жену и особенно маленькую дочку, родившуюся в период проконсульства, которую он сам окрестил на рыночной площади Невера, дав ей имя «Ниевр». Это маленькое, нежное, бледное дитя, его любимица, внезапно тяжело заболевает в эти дни термидора, и к заботе о собственной жизни присоединяется новая грозная забота о жизни дочери. Суровое испытание; он знает, как опасна болезнь для немошного, слабогрудого ребенка, оставшегося на попечении матери, и не может, из-за преследований Робеспьера, проводить ночи у постели смертельно больной девочки, он должен прятаться в чужих квартирах и мансардах. Вместо того чтобы ухаживать за ней, прислушиваясь к ее прерывистому дыханию, он должен поспешно перебегать от одного депутата к другому, лгать, умолять, угрожать, защищая собственную жизнь. Измученный душой, с разбитым сердцем, без усталости бродит несчастный в эти знойные июльские дни (много лет не было таких жарких) по политическим задворкам и не может быть свидетелем страданий своего угасающего любимого ребенка.

5 или 6 термидора этому испытанию положен конец. Фуше провожает на кладбище маленький гробик: ребенок умер. Такие испытания ожесточают. После смерти ребенка ему не страшна собственная смерть. Новая, порожденная отчаянием отвага укрепляет его волю. И пока заговорщики еще медлят и стараются отложить борьбу, Фуше, которому больше нечего терять на земле, кроме собственной жизни, произносит решительные слова: «Завтра должен быть нанесен удар». Это слово сказано 7 термидора.

И вот наступает утро 8 термидора — великого исторического дня. Уже с раннего утра безоблачный июльский зной давящей тяжестью ложится на спокойный город.

Только в Конвенте царит раннее и необычное волнение: депутаты шепчутся по углам; в кулуарах и на трибунах невиданное множество чужих и любопытных лиц. Таинственность и напряжение призраком бродят по залу, ибо неведомым путем распространилась весть, что сегодня Робеспьер будет рассчитываться со своими врагами. Может быть, кто-нибудь подслушал и подсмотрел, как Сен-Жюст вечером выходил из запертой на ключ комнаты, а Конвент слишком хорошо знает последствия этих тайных совещаний. Или Робеспьер узнал каким-нибудь другим образом о военных планах своих противников?

Все заговорщики, все, стоящие под угрозой, боязливо вглядываются в лица своих коллег: выдал ли кто-нибудь опасную тайну и кто именно мог это сделать? Предупредит ли их Робеспьер, или они раздавят его раньше, чем он заговорит? Обречет их или защитит «болото», — это неустойчивое, трусливое большинство? Каждый колеблется и трепещет. И беспокойство, как духота свинцового неба над городом, злобещей тяжестью ложится на собрание.

И действительно — едва открылось собрание, Робеспьер просит слова. Торжественно, как в день прославления верховного существа, облачился он в исторический небесно-голубой костюм и белые шелковые чулки; медленно, с нарочитой торжественностью, он поднимается на трибуну. На этот раз, однако, он держит в руках не факел, а сжимает — словно ликтор рукоятку топора — объемистый сверток: свою речь. Найти в этих свернутых листках свое имя — означает гибель для каждого; поэтому мгновенно прекращается болтовня и шопот на скамьях. Из сада и кулуаров торопятся депутаты занять свои места. Каждый со страхом вглядывается в слишком хорошо знакомое худое лицо. Но ледяной, замкнутый, непроницаемый для любопытных взглядов Робеспьер медленно разворачивает свою речь. Прежде чем опустить на бумагу свои близорукие глаза, он, чтобы усилить напряжение, оглядывает словно заипнотизированное собрание справа налево и слева направо, снизу доверху и сверху донизу, медленно, холодно и грозно. Вот они сидят, — его немногочисленные друзья, целый ряд колеблющихся и трусливая свора заговорщиков, ожидающая своей гибели. Он смотрит им в глаза.

Только одного он не видит. Единственный человек отсутствует в этот решающий час: Жозеф Фуше.

Но удивительно: только имя отсутствующего, только имя Жозефа Фуше упоминается в прениях. И как-раз в связи с его именем разгорается последняя решительная битва.

Робеспьер говорит долго, растянуто и утомительно: по старой привычке он размахивает ножом гильотины не называя имен, упоминает о заговорах и конспирациях, о недостойных и преступниках, о предателях и кознях, но имен он не называет. Он удовлетворяется тем, что гипнотизирует собрание: смертельный удар должен на следующий день нанести Сен-Жюст. На три часа он растягивает свою неопределенную, местами пустословную речь, и когда он ее заканчивает, собрание скорее утомлено, чем испугано.

Сначала никто не шевелится. Недоумение овладевает всеми. Непонятно — означает ли это молчание поражение или победу: только прения могут решить вопрос.

Наконец, один из приверженцев Робеспьера требует, чтобы Конвент постановил отпечатать его речь и тем самым одобрил ее. Никто не возражает. Большинство соглашается — трусливо, рабски, словно облегченно вздыхая, что сегодня не потребуют от него большего, не потребуют новых жизней, новых арестов, новых самоограничений. Но вот, в последнюю минуту, встает один из заговорщиков (его имя достойно упоминания — Бурдон де л'Уаз) и возражает против напечатания речи. И этот единственный голос развязывает языки другим. Трусость постепенно нарастает и сгущается в мужество отчаяния; один за другим обвиняют депутаты Робеспьера в недостаточно ясной формулировке своих обвинений и угроз, — пусть, наконец, выскажется ясно, кого он обвиняет. За четверть часа сцена преобразилась. Обвинитель Робеспьер должен защищаться, он ослабляет впечатление от своей речи вместо того, чтобы усилить его; он поясняет, что никого не обвинял, никого не обличал. *

В этот момент вдруг раздается голос; голос одного маленького, незначительного депутата: «Et Fuché?» — «А Фуше?» Имя произнесено, имя человека, которого Робеспьер уже клеймил однажды, как руководителя заговора, предателя революции. Теперь Робеспьер мог бы, должен

был бы нанести удар. Но странно, непостижимо странно, — Робеспьер уклоняется: «Я теперь не хочу им заниматься, я подчиняюсь лишь голосу своего долга».

Этот уклончивый ответ Робеспьера — одна из тайн, унесенных им с собой в могилу. Почему он щадит своего злейшего врага, сознавая, что речь идет о жизни и смерти? Почему он не поражает его, почему не нападает на отсутствующего, на единственного отсутствующего? Почему не дает облегченно вздохнуть другим, напуганным, которые, без сомнения, охотно пожертвовали бы Фуше ради собственного спасения? В тот же вечер — так утверждает Сен-Жюст — Фуше еще раз пытался приблизиться к Робеспьеру. Хитрость это или правда? Некоторые очевидцы утверждают, что видели его в эти дни на скамейке в обществе Шарлотты Робеспьер, его бывшей невесты: действительно ли пытался он побудить стареющую девушку замолвить слово за него? Действительно ли, отчаявшись, он для спасения собственной жизни хотел предать заговорщиков? Или он хотел обезвредить Робеспьера и прикрыть заговор видом раскаяния и покорности? Играл ли он, великий сеятель раздоров, и на этот раз, как в тысяче других случаев, краплеными картами? Был ли неподкупный, на этот раз сам стоявший под угрозой, Робеспьер в тот час склонен пощадить самого ненавистного врага ради сохранения своего превосходства? Была ли эта уклончивость в обвинении Фуше признаком тайного соглашения или только уверткой?

Все это неизвестно. Над образом Робеспьера еще теперь, по прошествии стольких лет, встает тень таинственности; никогда история не отгадает вполне этого непроницаемого мужа. Никогда не узнают его последних мыслей: жаждал ли он диктатуры для себя, или республики для всех, хотел ли он спасти революцию, или стать ее наследником как Наполеон. Никто не узнал его затаенных мыслей, мыслей его последней ночи — с 8 на 9 термидора.

Ибо это его последняя ночь: в эту ночь назревает решение. В лунном свете душной июльской ночи призрачно отсвечивает гильотина. Чье тело затрепещет завтра под ее холодным лезвием: триумвирата Тальен — Баррас — Фуше, или Робеспьера? Никто из шестисот депутатов не

ложится в эту ночь, обе партии готовятся к решительной битве. Робеспьер из Конвента бросился к якобинцам; при мерцающем свете восковых свечей, в трепетном волнении он читает им свою отвергнутую Конвентом речь. Еще раз — в последний раз — радуют его бурные рукоплескания, но, полный горьких предчувствий, он не поддается обману, несмотря на то, что три тысячи человек шумно толпятся вокруг него, называя эту речь своим завещанием. Тем временем его хранитель печати Сен-Жюст до зари отчаянно борется с Колло, Карно и другими заговорщиками в комитете, а в кулуарах Конвента плетется сеть, которая завтра опутает Робеспьера. Дважды, трижды, словно шпулькой в веретене, протягиваются нити справа налево, от партии «Горы» к прежней реакционной партии, пока не сплетаются, наконец, в прочный, неразрывный союз. Здесь снова внезапно выплывает Фуше, ибо ночь — его стихия, интрига — его настоящая сфера. Его свинцовое, от страха ставшее белым, как известь, лицо призрачно выделяется в полусвете зал. Он нащептывает, льстит, обещает, он пугает, страшит, грозит одному за другим и не успокаивается, пока союз не заключен. В два часа утра все противники, наконец, сошлись на том, чтобы общими усилиями покончить с Робеспьером. Теперь Фуше может, наконец, отдохнуть.

На заседании 9 термидора Жозеф Фуше тоже не присутствует, но он может отдыхать, ибо дело его сделано, сеть сплетена, и большинство решило не позволить ускользнуть от смерти слишком сильному и опасному противнику. Едва начинает Сен-Жюст, оруженосец Робеспьера, заранее приготовленную смертоносную речь против заговорщиков, как Тальен прерывает его, ибо они сговорились накануне не давать слова ни одному из могучих ораторов, ни Сен-Жюсту, ни Робеспьеру. Оба должны быть задушены, прежде чем они начнут говорить, прежде чем возведут обвинения, и вот, при ловкой поддержке услужливого президента, поднимается на трибуну один оратор за другим и когда Робеспьер собирается защищаться, они кричат, орут, стучат, заглушая его голос — подавленная трусость шестисот нетвердых душ, ненависть и зависть, копившиеся недели и месяцы, направлены теперь на человека, перед которым каждый из них трепетал. В шесть часов вечера



Максимилиан Робеспьер
С портрета работы Жана Дюпlessя-Верто

все решено, Робеспьер в опале и отправлен в тюрьму; напрасно его друзья, искренние революционеры, уважающие в нем суровую и страстную душу республики, — освобождают его и спасают в ратуше; ночью отряды Конвента штурмуют эту крепость революции, и в два часа утра, через двадцать четыре часа после того, как Фуше и его приверженцы подписали соглашение о его гибели, Максимилиан Робеспьер, враг Фуше, вчера еще могущественнейший муж Франции, лежит окровавленный, с раздробленной челюстью, поперек двух кресел в вестибюле Конвента. Крупная дичь затравлена, Фуше спасен. На следующий день после обеда колесница с грохотом катит к месту казни. Террор пришел к концу, но угас и пламенный дух революции, прошла ее героическая эра. Настает час наследников — авантюристов и любителей наживы, двурушников, спекулянтов, генералов и капиталистов — час нового сословия. Теперь, надо полагать, настанет и час Жозефа Фуше.

Пока колесница везет Максимилиана Робеспьера и его приверженцев по улице Сент-Оноре, по трагической дороге Людовика XVI, Дантона, Демулена и шести тысяч других жертв, собирается ликующая воодушевленная толпа любопытных. Еще раз казнь стала народным празднеством; флаги развеваются на крышах, радостные приветствия посылаются из окон, волна веселья заливает Париж. Когда падает в корзину голова Робеспьера, гигантская площадь сотрясается от дружного, восторженного ликования. Заговорщики изумлены: почему народ так страстно ликует по поводу казни человека, которому Париж, Франция еще вчера поклонялись как богу? Изумление Тальена и Барраса растет, когда у входа в Конвент бурная толпа народа встречает их восторженными взглядами, как убийц тиранов, как борцов против террора. Они изумлены. Уничтожая этого замечательного человека, они стремились лишь освободиться от неудобного моралиста, слишком зорко следившего за ними, — но дать заржаветь гильотине, покончить с террором они не собирались. Видя, однако, что народ теперь не расположен к массовым казням и что они могут снискать себе популярность, украсив месть гуманными мотивами, они быстро решают использовать это недоразумение. Они намерены утверждать, что

все насилия революции лежат на совести Робеспьера (ибо он не будет возражать из могилы), что они всегда восставали против суровости и преувеличений, всегда были апостолами милости.

Не казнь Робеспьера, а эта трусливая и лживая позиция его приемников делает день 9 термидора историческим событием мировой важности. Ибо до этого дня революция требовала для себя всех прав, спокойно брала на себя всю ответственность, — с этого же дня робко начинает допускаться возможность ошибок, и вожди отрекаются от нее. Но внутренняя мощь всякой духовной веры, каждого мировоззрения оказывается надломленной в момент отречения от безусловности своих прав, от своей непогрешимости. Жалкие победители Тальен и Баррас, посрамляя трупы своих великих предшественников, Дантона и Робеспьера, как трупы убийц, и робко садясь на скамьи правых, к умеренным, к тайным врагам революции, предают не только историю и дух революции, но и самих себя.

Каждый хочет видеть рядом с собой Фуше — главного заговорщика, злейшего врага Робеспьера. Он, больше всех рисковавший головой, как «*Chef de la Conspiration*», имел бы право на самый сочный кусок добычи. Но удивительно, — Фуше садится не с остальными заговорщиками на скамьи правых, а на свое старое место на «Горе», к радикалам — и хранит там молчание. В первый раз (все удивлены) он не на стороне большинства.

Почему так странно поступил Фуше? — спрашивали многие и тогда и позднее. Ответ прост. Потому, что он умнее и дальновиднее других, потому, что он своим превосходным политическим чутьем лучше улавливает положение дел, чем неумные Тальен и Баррас, которых лишь сознание опасности заставило проявить краткосрочную энергию. Фуше, бывший преподаватель физики, знает закон движения, по которому волна не может застыть в неподвижности. Она должна непременно нестись вперед или назад. Если начнется отлив, настанет реакция, она так же не остановится в своем беге, как не останавливалась революция; она так же дойдет до конца, до крайности, до насилия. Тогда наспех сотканный союз порвется, и если реакция победит, то все бойцы революции погибнут. Ибо когда приходят новые идеи, зловец меняется оценка дея-

ний вчерашнего. То, что вчера считалось республиканским долгом и добродетелью, например расстрел шестисот человек, ограбление церквей, — будет потом несомненно считаться преступлением: вчерашние обвинители завтра обратятся в обвиняемых. Фуше — у него не мало грехов на совести — не хочет прослыть участником огромных ошибок других термидорианцев (так называют себя убийцы Робеспьера), боязливо цепляющихся за колесо реакции; он знает — им ничего не поможет: если двинется вперед реакция, она всех унесет с собой. Только ум и предусмотрительность заставляют Фуше остаться левым, остаться верным радикалом, ибо он чувствует, что скоро будут схвачены за горло как-раз самые смелые.

И Фуше не ошибся. Чтобы стать любимцами толпы, чтобы доказать свое никогда не существовавшее человеколюбие, термидорианцы приносят в жертву самых энергичных проконсулов, они приговаривают к смертной казни Карье, потопившего шесть тысяч человек в Луаре, Жозефа Лебона, Аррасского трибуна, и Фукье-Тенвиля. В угоду правым они возвращают в Конвент семьдесят три исключенных члена жиронды и слишком поздно замечают, что, подкрепляя реакцию, становятся сами в зависимость от нее. Они покорно должны обвинять своих помощников в борьбе против Робеспьера — Билльо-Варрена и Колло д'Эрбуа, коллегу Фуше по Лиону. Все больше угрожает реакция жизни Фуше. На этот раз ему еще удастся спастись трусливым отрицанием своего участия в лионских событиях (хотя он подписывал вместе с Колло каждый декрет) и таким же лживым утверждением, что тиран Робеспьер его преследовал за излишнюю снисходительность. Таким образом этому хитрецу удастся пока обмануть Конвент. Он остается невредимым, в то время как Колло д'Эрбуа отправляется на «сухую гильотину», — иначе говоря, на зараженные лихорадкой острова Вест-Индии, где он погибает через несколько месяцев. Но Фуше слишком умен, чтобы чувствовать себя спасенным после преодоления этой первой опасности; ему знакома неумолимость политических страстей, он знает, что реакция так же ненасытно пожирает людей, как и революция, пока ей не подпилишь зубы; она не остановится в своей жажде мести, пока последний якобинец не пойдет под суд и не будет

разрушена республика. И он видит только одно средство к спасению революции, с которой он неразрывно связан всеми свершенными кровопролитиями: возобновление ее. И он видит один путь к спасению своей жизни: падение правительства. Снова, как шесть месяцев тому назад, он, под давлением угрозы, вступает в отчаянную борьбу против большинства, борьбу за свою жизнь. Всякий раз, когда речь идет о завоевании власти или спасении жизни, Фуше развивает удивительную силу. Он понимает, что прямыми путями нельзя удержать Конвент от преследований бывших террористов и остается единственным средством, достаточно испытанное во время революции: террор. При осуждении жирондистов, при осуждении короля уже применяли запугивание трусливых и осторожных депутатов (среди них был в ту пору еще консервативный Фуше), мобилизуя улицу против парламента, стягивая из предместий рабочие батальоны с их пролетарской силой, с их могущественным воодушевлением и подымая на ратуше знамя восстания. Почему эту старую гвардию революции, штурмовавшую Бастилию, этих героев 10 августа, не использовать в борьбе со струсившим Конвентом, почему не разнести их кулаками превосходные силы противника? Лишь бешеный страх перед мятежом, перед пролетарской злобой мог бы напугать термидорианцев, и Фуше решает разжечь парижское население, разжечь широкие массы и направить их на своих врагов, на своих обвинителей.

Конечно, Фуше слишком осторожен, чтобы лично появиться в предместьях, чтобы говорить там зажигательные речи или, подобно Марату, рискуя жизнью, разбрасывать подстрекательные брошюры среди народа. Он не любит подвергать себя опасности, он избегает ответственности; его мастерство не в громких увлекательных речах, а в напештывании, в работе исподтишка. И на этот раз он находит подходящего человека, который выступает смело и решительно, прикрывая его своей тенью.

По Парижу бродит в ту пору опальный, угнетенный человек и честный, страстный республиканец, Франсуа Бабеф, именующий себя Гракхом Бабефом. Порывистое сердце, средний ум. Истинный пролетарий, бывший землемер и типограф, он располагает лишь ограниченным запасом примитивных идей, но пропитывает их мужествен-

ной страстью и воспламеняет огнем истинно республиканских и социалистических убеждений. Буржуазные республиканцы и даже Робеспьер осторожно обходили социалистические идеи Марата об уравнивании имущества; они предпочитали говорить много о свободе, о братстве и гораздо меньше о равенстве, ибо это касалось денег и имущества. Бабеф подхватывает полузабытые мысли Марата, согревает их своим дыханием и выносит как факел в пролетарские кварталы Парижа. Это пламя может внезапно вспыхнуть, может в несколько часов поглотить весь Париж, всю страну, ибо народ начинает постигать, что термидорианцы ради собственных выгод предали их интересы — интересы пролетарской революции. За спиной Гракха Бабефа действует теперь Фуше. Он не показывается с ним публично рука об руку, но тайне нашептывает ему планы народного восстания. Он подговаривает Бабефа писать зажигательные брошюры и сам корректирует их, — ибо он полагает, что трусливый Конвент опомнится, если выступят рабочие, если опять предместья с оружием и барабанным боем двинутся к городу. Только террором, только страхом, только запугиванием можно спасти республику, только энергичным толчком слева можно уравновесить это опасное стремление вправо. И этот отважный, действительно грозный удар он нанесет рукой порядочного, честного, добросовестного, прямодушного человека: можно надежно укрыться за его широкой пролетарской спиной. Бабеф, именующий себя Гракхом и народным трибуном, в свою очередь чувствует себя польщенным тем, что известный депутат Фуше дает ему советы. Да, это еще последний честный республиканец, — думает Бабеф, — один из тех, кто не покинул скамьи «горы», не заключил союза с Jeunesse dorée¹ и поставщиками армии. Он охотно пользуется советами Фуше и, подталкиваемый в спину его ловкой рукой, набрасывается на Тальена, термидорианцев и правительство.

Но Фуше удастся обмануть только этого добродушного и прямолинейного человека. Правительство быстро узнает руку, направившую против него дуло, и в открытом заседании Тальен обвиняет Фуше в том, что он стоит за спи-

¹ Золотой молодежью.

ной Бабефа. По обыкновению Фуше сейчас же отрекается от своего союзника (также как от Шомета у якобинцев, как от Колло д'Эрбуа в лионских событиях), — Бабефа он знает мало, осуждает его преувеличения, — одним словом, Фуше поспешно отступает. И снова это отречение приносит гибель передовому бойцу. Бабефа арестовывают и расстреливают во дворе казармы (всегда другой расплачивается жизнью за слова и политику Фуше).

Этот смелый отпор не удался Фуше; он достиг только того, что снова обратил на себя внимание, а это нехорошо. Снова начинают вспоминать Лион и кровавые поля Бротто. Снова с удвоенной энергией реакция ищет обвинителей из провинций, в которых он властвовал. Едва удалось ему с трудом опровергнуть обвинения по поводу Лиона, как заговорили Невер и Кламесси. Все громче, все настойчивее проникают в зал Конвента обвинения Жозефа Фуше в терроре. Он защищается хитро, энергично и довольно успешно; даже Тальен, его противник, старается теперь выгородить Фуше, потому что его тоже начинают пугать перевес реакции и он начинает опасаться за свою жизнь. Но поздно: 22 термидора 1795 года, через год и двенадцать дней после падения Робеспьера, после длительных прений возбуждается обвинение против Фуше в совершении террористических актов. И 23 термидора выносится решение о его аресте. Как тень Дантона витает над Робеспьером, так и тень Робеспьера — над Фуше.

Но на документе помечают — умный политик верно учел это — термидор четвертого года республики, а не третьего. В 1793 году обвинение означало приказ об аресте, арест обозначал смерть. Забрав человека вечером в Консьержери, на следующий день его допрашивали, а к вечеру уже везли на колеснице к гильотине. В 1794 году у руки правосудия уже нет стальной хватки «Неподкупного»; законы стали мягче, и, обладая некоторой ловкостью, можно их обойти. И Фуше не был бы самим собой, если бы, после всех пережитых им опасностей, он не сумел освободиться от пут такой некрепкой сети. Он хитростью и уловками добивается того, что постановление об аресте не приводится в исполнение немедленно, ему дают срок для возражения, для ответа, для оправдания, а срок в ту пору — это все. Если стоять в тени, можно за-

ставить забыть о себе; если соблюдать спокойствие, пока другие кричат — можно остаться незамеченным. Следуя знаменитому рецепту Сиейса, просидевшего все годы в Конвенте, не открыв рта, и впоследствии гениально ответившего на вопрос, чем он все время был занят, — «*Ja ai vécu*» — «Я жил», Фуше, подобно иным животным, прикидывается мертвым, чтобы его не умертвили. Спасти свою жизнь на этот короткий переходный промежуток, — и он спасен. Ибо с обычной опытностью в распознавании он чувствует, что ветер меняет направление, что величие и сила Конвента продолжатся еще лишь несколько недель, может быть месяцев.

Так Фуше спасает свою жизнь, а это много значит в то время. Правда, он спасает только жизнь, — не имя и не положение, ибо его больше не избирают в собрание — тщетным оказалось громадное напряжение, напрасно растрачены потоки страсти и хитрости, отваги и предательства: он спасает всего лишь жизнь. Он уже не Жозеф Фуше из Нанта, представитель народа, не учитель ораторианцев, он всего лишь забытый, презренный человек, без положения, без состояния, без значения, жадный призрак, спавшийся во тьме.

Три года ни один человек во Франции не произносит его имени.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИНИСТР ДИРЕКТОРИИ И КОНСУЛЬСТВА

1799—1802

Создал ли кто-нибудь гимн изгнанию, силе, пересоздающей судьбу, в самом падении возвышающей человека, в суровом вынужденном одиночестве заново восстанавливающей и изменяющей поколебленную мощь души? Художники всегда лишь сетовали на изгнание, казавшееся им помехой на пути к вершине, бесполезным промежутком, жестоким перерывом. Но ритм природы любит такие насильственные цезуры. Ибо лишь тот познал всецело жизнь, кто проник во все ее глубины. Лишь ответный удар заставляет человека собрать всю свою наступательную силу.

Именно творческий гений больше всего нуждается в этом временном вынужденном одиночестве, чтобы из глубины отчаяния, из дали ссылки измерить пространство и высоту своей подлинной миссии. Самые значительные вести посылались человечеству из далекого изгнания: творцы великих религий — Моисей, Христос, Магомет, Будда — все они должны были удалиться в безмолвие пустыни, в одиночество, прежде чем возвысить голос для вещания решающих слов. Слепота Мильтона, глухота Бетховена, тюрьма Достоевского, темница Сервантеса, заключение Лютера в Вартбургском замке, ссылка Данте и добровольное изгнание Ницше в ледяные зоны Энгадина, все это тайные требования их гения, предъявленные бодрствующей воле человека.

Но и в низменном, более земном мире, — в мире по-

литики временное отсутствие дает государственному деятелю новую зоркость взгляда, лучший охват событий и расчет сил в политической игре. Временный перерыв течения жизненного потока — это счастливый случай, ибо кто смотрит на мир сверху, с высоты императорского величия, с башни из слоновой кости, тот знает лишь улыбку подчиненных и их опасную покорность: кто сам держит в руках весы, тот забывает свой собственный вес. Ничто не обессиливает художника, полководца, носителя власти больше, чем постоянный успех; художник только в неудаче познает свое истинное отношение к произведению, а полководец только в поражении — свои ошибки; лишь в немилости государственный деятель верно оценивает политическое положение. Постоянное обилие денег изнеживает, вечное одобрение притупляет; лишь перерыв наполняет холостой ритм новым напряжением и создающей эластичностью. Только несчастье углубляет и расширяет взгляд на действительность. Суровый урок, но всякое изгнание — это урок и учение: оно заново формирует волю; изнеженного, робкого оно делает решительным, могучего — еще могущественнее. Изгнание всегда укрепляет, а не ослабляет силу подлинно могучих людей.

Изгнание Жозефа Фуше продолжалось более трех лет, и одинокий, негостеприимный остров, на который он сослан, называется нищетой. Вчера еще проконсул и один из вершителей судеб революции, он падает с самых высоких ступеней могущества в такой мрак, в такую грязь и тину, что не найти его следов. Единственный, кто его видел тогда, Баррас, рисует потрясающую картину жалкой мансарды, под самым небом, где живет Фуше со своей некрасивой женой и двумя маленькими, больными, рыжими детьми, на редкость безобразными альбиносами. На пятом этаже, в грязном, тусклом, раскаленном от солнечных лучей помещении прячется свергнутый вождь, перед словом которого трепетали десятки тысяч людей, который через несколько лет снова окажется у кормила европейских судеб в роли герцога Отрантского; но теперь он не знает, на какие деньги купить завтра детям молока и чем заплатить за квартиру; вместе с тем он вынужден защищать свою несчастную жизнь от нападения незримых, бесчисленных врагов, от мстителей за Лион. Никто, даже его

достовернейший, точнейший биограф Мадлен не может рассказать достаточно полно, чем поддерживал эти годы свое нищенское существование Жозеф Фуше. Он не получает жалования как депутат, свое личное состояние он потерял при восстании в Сак-Доминго, никто не осмеливается дать «Mitrailleur de Lyon» место или работу, все друзья его покинули, все сторонятся его. Он берется за самые странные, самые грязные дела: в самом деле, это не басня, что будущий герцог Отрантский занимается откармливанием свиней. Но скоро он принимается за еще более нечистоплотную работу: он берет на себя обязанности шпиона Барраса, единственного представителя новой власти, который с удивительным сочувствием продолжает его принимать. Правда, не в приемной министерства, а где-нибудь в полумраке; там он подбрасывает время от времени неумолимому нищему маленькое грязное дельце, поставку в армию или инспекционную поездку, — дает ему какой-нибудь ничтожный заработок, который обеспечивает докучливого просителя недели на две. Однако в этих разнообразных поручениях обнаруживается подлинный талант Фуше. Баррас уже в ту пору строил разные политические планы, он не доверяет коллегам, и для него будет не лишним обзавестись личным сыщиком, подпольным доносчиком и осведомителем, не принадлежащим к официальной полиции, — чем-то вроде частного детектива. Для этой роли Фуше прекрасно подходит. Он слушает и подслушивает, проникает на черные лестницы домов, ревностно собирает у всех знакомых сплетни дня и тайно передает эти грязные выделения общественной жизни Баррасу. И чем честолюбивее становится Баррас, чем стремительнее строит он планы государственного переворота, тем нужнее становится ему Фуше. Давно уже мешают ему в директории (Совете Пяти, властвующем теперь над Францией) два порядочных человека, — прежде всего Карно, самый прямодушный деятель всей французской революции, — и он обдумывает, как бы избавиться от них. Но кто замышляет государственные перевороты и заговоры, тот нуждается прежде всего в бессовестных пронырах, людях à tout faire,¹ — брави, как их называют

¹ Годных для всего.

итальянцы, людях бесхарактерных и в то же время пригодных благодаря своей бесхарактерности: Фуше словно специально создан для этого. Изгнание становится школой для его карьеры, и тут он начинает развивать свой талант будущего мастера полицейских дел.

Наконец, наконец, после долгой, долгой ночи, проведенной в жизненной стуже, после мрака нищеты, Фуше почувал зарю. Предвидится новый победитель страны, новая власть, и он решает ей служить. Эта новая власть — деньги. Едва положили Робеспьера и его приверженцев на твердые доски плахи, как воскресли всемогущие деньги и снова приобрели тысячи льстецов и рабов. Экипажи с холеными лошадьми, с новой упряжью катятся по улицам, и в них сидят восхитительные, полуобнаженные, подобно греческим богиням, женщины в драгоценных шелках и легких тканях. По Булонскому лесу катается верхом Jeunesse dorée¹ в туго облегающих ноги белых нанковых штанах и желтых, коричневых, красных фраках. В руках, украшенных кольцами, они держат эlegantные хлысты с золотыми набалдашниками, охотно пуская их в ход против бывших террористов; парфюмерные и ювелирные магазины торгуют прекрасно, внезапно появляются пятьсот, шестьсот, тысяча танцевальных зал и кафе, строят виллы, приобретают дома, посещают театры, спекулируют, держат пари, покупают, продают и ставят на карту тысячи за спущенными камчатными занавесями Пале-Рояля. Деньги снова явились на свет, самодержавные, наглые и отважные.

Но где они были во Франции, эти деньги, между 1791 и 1795 годами? Они продолжали существовать, но были спрятаны. Как это было в Германии и Австрии в период страха перед коммунизмом, в 1919 г., богатые люди внезапно прикинулись мертвыми и, надев поношенное платье, жаловались на свою бедность, ибо кто в эпоху Робеспьера окружал себя малейшей роскошью, даже тот, кто лишь издали приближался к ней, слыл за «mauvais riche» (пользуясь выражением Фуше), считался подозрительным: было неудобно считаться богатым. Теперь опять силен только тот, кто богат. И, к счастью, наступает великолепное

¹ Золотая молодежь.

время (как всегда в дни хаоса) для приобретения денег. Богатства перемещаются; имущества продаются: на этом можно заработать. Собственность эмигрантов продается с аукциона: на этом можно заработать. Состояние осужденных конфискуется: на этом можно заработать. Курс ассигнаций понижается со дня на день, дикая лихорадка инфляции потрясает страну: на этом можно заработать. На всем можно заработать, имея проворные, наглые руки и связь с правительством. Но открывается новый, несравненный, блестящий источник: война. Уже в 1791 г. несколько человек сразу же сообразили (как и в 1914 г.), что из пожирающей людей и разрушающей ценности войны можно тоже извлечь выгоду, но тогда Робеспьер и Сен-Жюст, неподкупные, жестоко схватили за горло всех «ассарагеурс». ¹ Теперь, когда эти Катоны, слава богу, убраны и гильотина ржавеет в сарае, спекулянты и поставщики для армии чувят приближение золотых денечков. Теперь спокойно можно за громадные деньги поставлять негодные сапоги, авансами и реквизициями плотно набивать карманы. Конечно, подразумевается, что будут заказы на поставки. Поэтому такого рода дельцам нужен подходящий посредник, — обладающий достаточным влиянием и в то же время сговорчивый помощник, который с заднего хода пустил бы спекулянтов в конюшню к яслям, наполненным государственным и военным имуществом.

Для таких грязных дел Жозеф Фуше — идеальный исполнитель. Нищета основательно потрепала его республиканскую совесть, он спокойно простился с ненавистью к деньгам, — теперь можно дешево купить этого полутолстого человека. В то же время он имеет превосходные «связи», ведь он вхож (как шпион) в переднюю Барраса, президента директории. Таким образом в одну ночь радикальный коммунист 1793 года, который во что бы то ни стало хотел заставить печь «хлеб равенства», становится своим человеком среди новоиспеченных банкиров республики, за хорошие проценты исполняет все их пожелания и устраивает их дела. Например, спекулянт Гэнгерло, один из самых наглых и бессовестных дельцов республики (Наполеон его ненавидел), стоит перед неприятным обвине-

¹ Спекулянтов.

нием: он чересчур нагло спекулировал и, снабжая армию, с излишней заботливостью снабжал свои карманы. Теперь у него на шее процесс, который может стоить много денег и, пожалуй, даже жизни. Как поступают в таких случаях (тогда так же, как и сегодня)? Обращаются к человеку, имеющему связи «в высших сферах», имеющему политическое или закулисное влияние, способному «направить» неприятное дело в нужную сторону. Обращаются к Фуше, осведомителю Барраса, который сейчас же стремглав бежит к всемогущему (письмо напечатано в мемуарах), и, действительно, нечистоплотное дело оказывается тихо и безболезненно замкнутым. В благодарность за услугу Гэнгерло не забывает его при поставках для армии, при биржевых сделках, и — «l'appetit vient en mangeant».¹ Фуше в 1797 г. открывает, что деньги пахнут гораздо лучше, чем кровь в 1793, и — пользуясь своими новоприобретенными «связями» в финансовом мире и в новом правительстве — основывает компанию для поставок в армию Шерера. Солдаты храброго генерала получают скверные сапоги и будут мерзнуть в тонких шинелях, они будут побеждены на полях Италии, но гораздо важнее то, что компания Фуше-Гэнгерло, а вероятно и сам Баррас, извлекут солидную прибыль. Исчезло отвращение к «презренному и губительному металлу», о котором так красноречиво трубил всего три года тому назад ультраякобинец и сверхкоммунист Фуше; забыта ненависть к «злым богачам», забыто, что «хорошему республиканцу не нужно ничего, кроме хлеба, оружия и сорока экю в день»; теперь настало время, наконец, самому стать богатым. В изгнании Фуше понял власть денег и готов служить ей, как всякой власти. Слишком томительно, слишком горестно было это дно, это ужасное дно, покрытое тиной презрения и лишений, — он напрягает все силы, чтобы выплыть, чтобы подняться в те выси, в тот мир, где за деньги покупают власть и из власти чеканят деньги. Первая штольня проложена в этом богатейшем руднике, первый шаг сделан на фантастическом пути от мансарды пятого этажа к герцогской резиденции, от нищеты к состоянию в двадцать миллионов франков.

¹ Аппетит приходит во время еды.

Теперь Фуше, окончательно сбросив с плеч неприятный груз революционных принципов, приобрел подвижность: через день он уже снова во всеоружии. Его друг Баррас занят не только темными денежными сделками, но и грязными политическими делами. Он склонен потихоньку продать республику Людовику XVIII за герцогский титул и порядочный денежный куш. В этом предприятии ему мешает только присутствие порядочных коллег — республиканцев вроде Карно, все еще верующих в республику и не понимающих, что идеалы существуют лишь для того, чтобы на них наживаться. И в государственном перевороте Барраса 18 фруктидора, освободившем его от этой неприятной стражи, Фуше, без сомнения, основательно помог своему компаньону тайными подкопами, ибо едва его покровитель Баррас стал неограниченным властелином в Совете Пяти, в обновленной директории, как этот избегающий дневного света человек смело выступает и требует вознаграждения. Пусть Баррас, требует он, использует его в политике, при армии или в каком-нибудь другом месте, для того или иного поручения, позволяющего набить себе карманы и оправиться от долгих лет нищеты. Баррас, нуждающийся в нем, не может отказать своему помощнику в темных делах, но все-таки имя Фуше, лионского Mitrailleur'a, еще слишком отдает запахом пролитой крови, и в медовый месяц реакции видеться с ним открыто в Париже значило бы компрометировать себя. Поэтому Баррас отправляет его прежде всего в Италию к армии, в качестве представителя правительства, потом в Батавскую республику в Голландию для секретных переговоров. Баррас на опыте убедился, что Фуше отличный мастер подпольных интриг: скоро ему придется еще основательнее проверить это на самом себе.

Итак, в 1798 г. Фуше — посол французской республики: он снова во всеоружии. Он развивает такую же холодную энергию при исполнении своей нынешней дипломатической миссии, как некогда при исполнении миссии кровавой. Особенно больших успехов добывается он в Голландии. Умудренный трагическим опытом, созревший в бурях времени, с выкованной в суровом горниле нищеты гибкостью, Фуше проявляет свою прежнюю энергию, соединяя ее с новой осторожностью. Скоро новые власти-

тели — там наверху — начинают понимать, что это полезный человек, который всегда держит нос по ветру и чувствует, где пахнет деньгами. Угодливый с высшими, грубый с низшими, этот искусный и ловкий мореплаватель как бы создан для бурь. И так как корабль правительства зловецце накренился, а неуверенный курс грозит ему аварией, директория принимает 3 термидора 1799 г. неожиданное решение: Жозеф Фуше, посланный по секретному делу в Голландию, внезапно назначается министром полиции французской республики.

Жозеф Фуше — министр! Париж вздрогнул как от пушечного выстрела. Неужели снова начинается террор, раз они спускают с цепи этого кровожадного пса, лионского *Mitrailleur*'а, осквернителя религии, грабителя церкви, друга анархиста Бабефа? Неужели — упаси бог! — вернут с малярийной Гвианы Колло д'Эрбуа и Бильо и снова на площади Республики поставят гильотину? Неужели снова начнут печь «хлеб равенства», введут филантропические комитеты, выманивающие деньги у богачей? Париж, давно успокоенный, со своими полутора тысячами танцевальных зал и блестящими магазинами, со своей *jeunesse dorée*, приходит в ужас — богачи и буржуа трепещут, как в 1792 году. Довольны лишь якобинцы — последние республиканцы. Наконец, после ужасных преследований, один из их рядов снова у власти, — самый смелый, самый радикальный, самый непреклонный; наконец реакция под угрозой, республика будет очищена от роялистов и заговорщиков.

Но странно, — и те и другие спрашивают себя через несколько дней: в самом ли деле этого министра полиции зовут Жозеф Фуше? Снова оправдалось мудрое слово *Mirabo* (и в наши дни применимое к социалистам), что якобинцы в должности министра уже не якобинские министры: ибо уста, прежде требовавшие крови, теперь источают примирительный елей. Порядок, спокойствие, безопасность, — эти слова беспрерывно повторяются в полицейских объявлениях бывшего террориста, и расправа с анархией — его девиз. Свобода должна быть ограничена, возбуждающим речам должен быть положен конец. Порядок, порядок, спокойствие, безопасность — ни *Metternich*, ни *Seldnick*, ни один ультрареакционер австрийской им-

перии не издавал более консервативных декретов, чем Жозеф Фуше, *Mitrailleur de Lyon*.

Буржуа свободно вздыхают: Савл превратился в Павла! Но действительные республиканцы неистовствуют от гнева на своих собраниях. Их этот год научил немногому, — они всё продолжают произносить злобные речи, речи и речи, они грозят директории, министрам и конституции цитатами из Плутарха. Они буйствуют, словно еще живы Дантон и Марат, словно набат, как прежде, мог бы собрать стотысячную толпу из предместий. Их утомительные представления выводят, наконец, из терпения директорию. Как быть с этим? — настойчиво спрашивают коллеги новопеченного министра полиции.

«Закрывать клуб», отвечает он невозмутимо. Недоверчиво смотрят на него министры и спрашивают, когда он думает осуществить эту смелую меру. «Завтра», спокойно отвечает Фуше.

И в самом деле, на другой день Фуше, бывший президент якобинцев, отправляется вечером в радикальный клуб на улице Бак. Здесь все эти годы билось сердце революции. Там те же люди, перед которыми выступали Робеспьер, Дантон и Марат, перед которыми он сам выступал со страстными речами; после падения Робеспьера, после поражения Бабсфа только в клубе de Manège живет воспоминание о бурных днях революции.

Но сентиментальность несвойственна Фуше; он может, при желании, с потрясающей быстротой забыть о прошлом. Бывший учитель математики ораторианцев принимает во внимание только параллелограм реальных сил. Он считает республиканские идеи погибшими, лучшие вожди и деятели покоятся в земле; таким образом клубы давно потеряли свое значение, стали сборищем болтунов, где один перебивает другого. В 1799 году курс цитат из Плутарха и патриотических слов упал не меньше, чем курс ассигнаций: сказано слишком много фраз и напечатано слишком много бумажных денег. Франция (кто осведомлен об этом лучше министра полиции, контролирующего общественное мнение!) устала от ораторов, адвокатов и новаторов, устала от законов и декретов, она жаждет лишь покоя, порядка, мира и ясности финансового положения; как после нескольких лет войны, так и после нескольких лет

революции, после каждого порыва общественного воодушевления, предъявляет свои права неустойчивый эгоизм единичной личности и семьи.

Как-раз в тот момент, когда один из давно отживших свой век республиканцев произносит пламенную речь, открывается дверь, и входит Фуше в форме министра, сопровождаемый жандармами. Он удивленно обводит холодным взором вскопчивших со своих мест членов клуба: какие жалкие противники! Давно перевелись люди дела, вдохновители революции и ее герои: остались лишь болтуны, а чтобы справиться с болтунами, достаточно уверенного жеста. Он немедленно подымается на трибуну: первые после шести лет слышат якобинцы его ледяной, трезвый голос: но этот худосочный человек подымает его не для призыва к свободе, к свержению деспотов, как некогда, а для того, чтобы спокойно, кратко и ясно объявить клуб закрытым. Собравшиеся так ошеломлены неожиданностью, что никто не оказывает сопротивления. Они не возмущаются, не бросаются, как обзывает их клятва, с мечами на душиателя свободы. Они лишь что-то бормочут, тихо отступая, и в смятении покидают помещение. Фуше рассчитал верно: с настоящими мужами надо бороться, для болтунов достаточно угрожающего жеста.

Зал пуст; он спокойно направляется к двери, запирает ее и прячет ключ в карман. И этим поворотом ключа, собственно говоря, положен конец революции.

Из всякой должности человек может сделать то, что ему хочется. Принимая министерство полидии, Жозеф Фуше, в сущности, получает второстепенную роль, что-то вроде подотдела министерства внутренних дел. Он обязан быть блюстителем и информатором, подвозить, как возница, материалы для внутренней и внешней политики, из которых члены директории, как короли, возводят строения. Но едва прошло три месяца, как Фуше получил в свои руки власть, его покровители с ужасом, с изумлением и уже беспомощно замечают, что он следит не только за низами, но и за верхами, что министр полиции контролирует остальных министров, директорию, генералов, всю политику. Его сеть протянута ко всем должностям, ко всем обязанностям, в его руки стекаются все известия, он создает политику вокруг политики, войну рядом с войной,

повсюду тянутся щупальцы его власти, пока, наконец, возмущенный Талейран не берется разъяснить ему обязанности министра полиции: «министр полиции это человек, который в первую очередь заботится о делах, его касающихся, и только на втором плане стоят у него дела, его не касающиеся».

Превосходно построена эта сложная машина, этот универсальный контрольный аппарат для целой страны. Тысячи известий стекаются ежедневно в дом на набережной Вольтера, ибо за несколько месяцев этот мастер наводнил всю страну шпионами, тайными агентами и доносчиками. Но его сыщики не только обычные, неуклюжие, мелкие детективы, которые подслушивают у дворников, в кабаках, публичных домах и церквях повседневные сплетни: агенты Фуше носят галуны и сюртуки дипломатов или легкие кружевные платья, они ведут беседы в салонах предместья Сен-Жермен¹ и, притворившись патриотами, присутствуют на тайных совещаниях якобинцев. В списке его наемников есть маркизы и герцогини, носители самых громких имен Франции, — да, он может похвастать (фантастический факт!) тем, что у него служит самая высокопоставленная женщина страны — Жозефина Бонапарт, будущая императрица. Он оплачивает секретаря своего будущего повелителя и императора, в Гартуэле, в Англии, он подкупил повара короля Людовика XVIII. В армии, среди купечества, у депутатов, в кабачках и на собраниях незримо присутствует министр полиции; тысячи известий стекаются ежедневно к его письменному столу. Там рассматриваются, фильтруются и сравниваются эти отчасти правдивые и важные, отчасти пустословные доносы, пока из тысячи шифров не будут извлечены точные сведения.

Ибо сведения — это главное; на войне так же, как в мирное время; в политике так же, как в финансовых делах. Уже не в терроре, а в осведомленности могущество Франции 1799 года. Сведения о каждом несчастном термидорианце: сколько денег он получает, кто ему дает взятки, за сколько его можно купить, чтобы держать под вечной угрозой и обратить начальника в подчиненного;

¹ Предместье Парижа, в котором были сосредоточены особняки богачей и знати. *Прим. перев.*

сведения о заговорах, — отчасти, чтобы их побороть, отчасти, чтобы поддержать их и тем повернуть направо руль политики; своевременно полученные сведения о военных действиях или мирных переговорах, дающие возможность заключать на бирже сделки с услужливыми финансистами и положить, наконец, начало своему состоянию. Таким образом эта осведомительная машина в руках Фуше беспрерывно доставляет ему деньги, и в свою очередь деньги являются маслом, заставляющим ее двигаться бесшумно. Игорные и публичные дома так же, как банки, платят ему миллионную дань, превращающуюся в его руках во взятки, а взятки — в информацию; так, никогда не останавливаясь, без конца работает это огромное сложное сооружение, созданное в несколько месяцев громадной работоспособностью, психологической гениальностью одного человека.

Но самое гениальное в этом бесподобном сооружении Фуше — то, что оно подчиняется управлению лишь одной определенной руки. Где-то там укреплен винт; если его удалить, — машина тотчас же остановится. Фуше с первого мгновения принимает меры предосторожности на случай немилости. Он знает: если ему придется покинуть свой пост, достаточно одного поворота руки, чтобы остановить созданную им машину. Ибо не для государства, не для директории, не для Наполеона создает этот могучий человек свое произведение, он создает его лишь для себя. Он и не думает добросовестно передавать своему начальству продукты химического перегона всех сведений, произведенного в его лаборатории; он с откровенным эгоизмом переправляет лишь то, что он считает нужным переправить: зачем учить разуму болванов директории, открывать им свои карты? Лишь то, что ему полезно, что безусловно принесет ему выгоду, выпускает он из своей лаборатории, все остальные стрелы и яды он тщательно бережет в своем частном арсенале для личной мести и политических убийств. Фуше всегда осведомлен лучше, чем предполагает директория, и поэтому он для каждого опасен и вместе с тем необходим. Он знает о переговорах Барраса с роялистами, о стремлении Бонапарта сесть на престол, о сделках якобинцев и реакционеров, — но он выдает эти секреты не в тот момент, когда они становятся ему изве-

сны, а лишь когда ему покажется выгодным их открыть. Иногда он поощряет заговоры, иногда он их тормозит, иногда искусно их затевает, иногда с шумом разоблачает (и вместе с тем своевременно предостерегает участников, чтобы они могли спастись); всегда он играет двойную, тройную, четверную игру; обманывать и одурачивать на всех фронтах, за всеми столами становится его страстью. Для этого, конечно, нужно затратить все время и силы: Фуше, работающий десять часов в день, не экономит ни того, ни другого. Он предпочитает сидеть с утра до вечера в своем бюро, лично просматривать все бумаги и отвечать на каждую из них, чем позволить другому заглянуть в полицейские секреты. Каждого важного преступника он допрашивает сам при закрытых дверях в своем кабинете, так, чтобы все подробности знал он, только он и никто из его подчиненных; таким образом постепенно он, в качестве добровольного исповедника целой страны, держит в руках тайны всех людей. Снова, как некогда в Лионе, он применяет террор, но теперь уж его орудие не тяжелый сокрушающий топор, а душевный яд страха, сознания вины, гнета слезки, которым он убивает тысячи людей. Машина 1792 г., гильотина, изобретенная, чтобы подавить всякое сопротивление государству, неуклюжее орудие в сравнении с сложным сооружением, созданным духовным превосходством Жозефа Фуше 1799 года.

На этом инструменте, который он собственными силами создал, Фуше играет, как подлинный артист. Он знает высшую тайну власти: втайне наслаждается ею, бережно ею пользуется. Прошли лионские времена, когда свирепая революционная гвардия со штыками наперевес закрывала доступ в покои всемогущего проконсула. Теперь в его приемной толпятся дамы из предместья Сен-Жермен, а их охотно пропускают в кабинет. Он знает, что им нужно. Одна просит вычеркнуть своего родственника из списка эмигрантов, другая хотела бы получить хорошее место для кузена, третья — избежать неприятного процесса. Фуше одинаково любезен со всеми. Зачем восстанавливать против себя какую-нибудь партию, — якобинцев или роялистов, умеренных или бонапартистов, — пока еще неизвестно, кто из них будет завтра у руля? Поэтому страшный террорист превращается в чарующе любезного чело-

века; публично, в своих речах и прокламациях, он жестоко громит роялистов и анархистов, но под шумок он тайно предостерегает или подкупает их. Он избегает громких процессов, жестоких приговоров: он удовлетворяется властным жестом вместо самой власти, предпочитает подлинную, хотя и незаметную силу ничтожным кокарадам, которыми украшены шляпы Барраса и его коллег.

Случилось так, что через несколько месяцев отщепенец Фуше сделался всеобщим любимцем. И в самом деле, какой же министр и государственный деятель не приобретет всеобщих симпатий, если он доступен для всех, смотрит сквозь пальцы на обогащение людей, содействует получению теплых местечек, всем уступает, любезно закрывает глаза, где нужно, — разумеется, лишь до тех пор, пока публика не начнет слишком вмешиваться в политику или препятствовать его собственным планам? Разве не лучше заставить при помощи лести или выгодными предложениями отказаться от своих убеждений, чем направлять на них пушки? Разве не достаточно пригласить беспокойного человека в свой частный кабинет и там вынуть из ящика стола заготовленный для него смертный приговор, чем действительно привести этот приговор в исполнение? Конечно, там, где обнаруживаются признаки действительного возмущения, он по-старому беспощадно подавляет их своей тяжелой рукой. К тем же, кто ведет себя скромно и не зазнается, бывший террорист применяет свою давнюю монастырскую терпимость. Он знает, как люди падки на роскошь, на мелкие пороки и тайные наслаждения, — прекрасно, *habeant!*¹ — лишь бы они были спокойны! Крупные банкиры, которых до сих пор, в дни республики, беспощадно травили, могут теперь спокойно спекулировать и наживаться. Фуше дает им сведения, а они ему — долю в барышах. Печать, — во времена Марата и Демулена свирепый, кровожадный пес, — смотрите, как ласково она теперь виляет хвостом; она тоже предпочитает сладкую булочку ударам плетки. Скоро шумиха, которую подняли привилегированные патриоты, сменяется тишиной, нарушаемой лишь чавканьем, — Фуше бросил каждому кость или несколькими крепкими ударами загнал их

¹ Пусть пмеют.

в угол. Его коллеги поняли, поняли и все партии, что быть другом Фуше столь же удобно и выгодно, сколь неприятно познакомиться с когтями, скрытыми в его бархатных лапках. Так этот презираемый всеми человек, пользуясь тем, что он все знает, что каждый должен ему быть благодарен за молчание, приобретает внезапно бесчисленное множество друзей. Еще не восстановлен разрушенный город на Роне, а бомбардировка Лиона уже забыта, Жозеф Фуше — общий любимец.

Обо всем, что происходит в государстве, самые свежие, самые достоверные сведения получает Жозеф Фуше: никто не имеет возможности так глубоко заглянуть во все извилины событий, как он, вооруженный тысячеголовой, тысячеухой бдительностью; никто не знает силы или бессилія партий и людей лучше этого холодного расчетливого наблюдателя, с его аппаратом, регистрирующим малейшие колебания политики.

Так проходит несколько недель, несколько месяцев, наконец наступает день, когда Жозеф Фуше ясно видит, что директория погибла. Все пять руководителей в споре, один подставляет ножку другому и не может дожидаться минуты, когда удастся спихнуть его. Армии разбиты, в финансовых делах хаос, в стране неспокойно, — так дальше не может продолжаться. Фуше чувствует приближение перемены ветра. Агенты доносят ему, что Баррас тайком ведет переговоры с Людовиком XVIII и продаст республике бурбонской династии за герцогскую корону. Его коллеги в свою очередь любезничают с герцогом Орлеанским или мечтают о восстановлении Конвента. Но все, все они знают, что так дальше продолжаться не может. Ибо нация потрясена восстаниями внутри страны, ассигнации превращаются в ничего не стоящие бумажки, солдаты отказываются воевать; если новая власть не соберет рассеянные силы, республика неминуемо должна будет пасть.

Лишь диктатор может спасти положение, и все оглядываются в поисках подходящего человека. «Нам нужны голова на плечах и сабля», — так Баррас говорит Фуше, втайне считая себя этой головой и подыскивая подходящую саблю. Но Гош и Жубер, эти победители, погибли не вовремя для своей карьеры, Бернадот все еще ведет себя

якобинцем, а единственного, о ком знают, что он обладает и саблей и головой, — Бонапарта, героя Арколя и Риволи, из страха отправили подальше, — он без толку маневрирует в песках египетской пустыни. Он так далеко, что на него рассчитывать, повидимому, не приходится.

Из всех министров только Фуше уже тогда знал, что этот генерал Бонапарт, который, как все думают, пребывает в тени пирамид, на самом деле не так далеко и скоро приблизится к берегам Франции. Они отправили этого слишком честолюбивого, слишком популярного и властного человека за тысячи миль от Парижа; они, пожалуй, даже свободно вздохнули исподтишка, когда Нельсон уничтожил флот при Абукире, ибо какое значение имеют для интриганов и политиков тысячи погибших, если вместе с ними устранин и конкурент. Теперь они спокойно спят, они знают, что он пригвожден к армии, и не собираются его возвращать. Ни на одну минуту не допускают они мысли, что Бонапарт может решиться самовольно передать командование другому генералу и нарушить их покой: все возможности они предусматривают, не предусматривают лишь одной — возвращения Бонапарта.

Фуше, однако, знает больше и получает сведения из лучших, более достоверных источников. Ибо все передающий ему, доносящий о каждом письме, о каждом мероприятии, самый лучший, осведомленный и преданный из оплачиваемых Фуше шпионов — это жена Бонапарта, Жозефина Богарне. Подкупить эту легкомысленную креолку было, пожалуй, не очень большим подвигом, ибо, вследствие своей сумасбродной расточительности, она вечно нуждалась в деньгах, и сотни тысяч, которые щедро выдавал ей Наполеон из государственной кассы, исчезали, как капли в море, у женщины, приобретающей ежегодно триста шляп и семьсот платьев, не умеющей беречь ни своих денег, ни своего тела, ни своей репутации, и к тому же в ту пору находившейся в дурном настроении. Дело в том, что пока маленький пылкий генерал, собиравшийся взять ее с собой в скучную страну мамелюков, пребывал на поле брани, она проводила ночи с красивым, милым Шарлем, а быть может и с двумя-тремя другими, — вероятно даже со своим прежним любовником Баррасом. Этим она оскорбила глупых братьев-интриганов Жозефа

и Люсьена, и они поторопились донести об этом ее вспыльчивому, ревнивому, как турок, мужу. Ей нужен поэтому человек, который помог бы ей следить за этими братьями-шпионами и контролировать их корреспонденцию. Это обстоятельство, а заодно и некоторое количество дукатов — Фуше в своих мемуарах откровенно называет цифру в тысячу луидоров — заставляют будущую императрицу выдавать Фуше все секреты, и в первую очередь самый важный и самый грозный секрет — о предстоящем возвращении Бонапарта.

Фуше удовлетворился тем, что он осведомлен. Разумеется, гражданин министр полиции и не думает информировать свое начальство. Прежде всего он укрепляет свою дружбу с супругой претендента, в тиши извлекает пользу из полученных им сведений и, по обыкновению, хорошо подготовленный, идет навстречу решению, которое, как он отлично понимает, не заставит себя долго ждать.

11 октября 1799 года директория поспешно призывает Фуше. Зеркальный телеграф¹ передал невероятную весть: Бонапарт самовольно, без вызова директории, вернулся из Египта и прибыл во Фрежюс. Что делать? Арестовать ли тотчас же генерала, который, не получив приказа, как дезертир покинул свою армию, или принять его вежливо? Фуше, представляясь еще более пораженным, чем искренно пораженные члены директории, советует им быть снисходительными. Выждать! Выждать! Ибо Фуше еще не решил, будет ли он на стороне Бонапарта, или против него, — он предпочитает дать развернуться событиям. Но пока потерявшие голову главы директории спорят, помиловать ли Бонапарта, несмотря на его бегство, или арестовать его, народ сказал свое слово. Авиньон, Лион, Париж встречают его как триумфатора, во всех городах на его пути устраивают иллюминации, и публика театров, когда со сцены сообщается о его возвращении, встречает эту весть ликованием: не подчиненным он возвращается, а повелителем, мощным властелином. Едва он прибыл в Париж, в свою квартиру на улице Шантерен (вскоре

¹ Изобретенный и установленный во Франции в эпоху революции телеграф, передававший световые сигналы посредством системы зеркал, отражающих солнечные лучи. *Прим. перев.*

названной в его честь улицей Победы), как его окружает толпа друзей и людей, полагающих, что полезно прослыть его другом. Генералы, депутаты, министры, даже Талейран почтительно расшаркиваются перед героем, и наконец к нему отправляется сам министр полиции собственной персоной. Он едет на улицу Шантерен и велит доложить о себе Бонапарту. Но Бонапарту этот господин Фуше представляется безразличным и незначительным посетителем. И он заставляет его ждать добрый час в передней, как надоедливого просителя. Фуше — это имя ему мало говорит: лично с ним он не знаком, а может быть только вспоминает, что человек с таким именем сыграл довольно печальную роль в Лионе в годы террора; быть может, он встречал в приемной своего друга Барраса этого оборванного, опустившегося, мелкого полицейского шпика. Во всяком случае, это человек, не имеющий большого значения, какой-то мелкий делец, проницательностью раздобывший себе теперь маленькое министерство. Такого можно заставить посидеть в передней. И в самом деле, Жозеф Фуше битый час терпеливо ждет в передней генерала, и ему, быть может, пришлось бы и второй и третий час посидеть там в кресле, сердобольно предложенном ему лакеем, если бы случайно Реаль, один из участников затеваемого Бонапартом государственного переворота, не увидел всемогущего министра, у которого домогается аудиенции весь Париж, в столь жалком положении. Испуганный этим злополучным промахом, он вбегает в комнату генерала, взволнованно сообщая ему об ужасной ошибке: как можно так оскорбительно заставить ждать человека, который одним движением может, как бомба, взорвать всю их затею. Бонапарт поспешно выходит к нему и два часа разговаривает с ним с глазу на глаз.

Впервые встретились Бонапарт и Фуше лицом к лицу: они тщательно рассматривают, оценивают друг друга, соображая, насколько один может быть полезен другому в достижении его личных целей. Мигом эти выдающиеся люди разгадали друг друга. Фуше сразу узнает в неслышанной динамике этого могущественного человека непреодолимый гений владычества. Бонапарт острым хищным взором сразу узнает в Фуше полезного, годного на все, быстро соображающего и энергично действующего по-

мощника. Никто, — рассказывает он на острове св. Елены, — не дал ему такого сжатого и в то же время наглядного обзора положения Франции и директории, как Фуше в этой первой двухчасовой беседе. И если Фуше — среди добродетелей которого откровенность занимает последнее место — немедленно открывает претенденту на трон всю правду, значит, он решил отдать себя в его распоряжение. В первый же час распределяются роли, — господин и слуга, строитель мира и политик эпохи: их совместная игра может начаться.

Фуше уже при первой встрече с необыкновенной готовностью доверяет Бонапарту свои мысли. Но все же: он еще не отдает себя всецело в его распоряжение. Он не принимает открытого участия в заговоре, который должен вызвать падение директории и сделать Бонапарта самодержцем: он слишком осторожен для такого шага. Он слишком строго, слишком убежденно придерживается своего жизненного принципа: никогда не принимать окончательного решения, пока не определилось, на чьей стороне победа. Но происходит нечто странное: обладающего столь тонким слухом, столь острым зрением французского министра полиции поражает в ближайшие дни неприятный недуг: он внезапно становится буквально слепым и глухим. До него не доносится ни один из распространяющихся по городу слухов о предстоящем государственном перевороте, он не видит бесчисленных писем, которые суют ему в руки. Все его обычно безукоризненно достоверные источники информации словно магически иссякли, и в то время как из пяти членов директории двое уже участвуют в заговоре, а третий наполовину к нему примкнул, министр полиции не подозревает о грядущем военном перевороте — или, вернее, делает вид, что не подозревает. В его ежедневных донесениях нет ни строчки о генерале Бонапарте и о нетерпеливо бряцающей оружием клике; правда, и другой стороне — стороне Бонапарта он не доставляет никаких сведений, не передает ни одной записки. Только молчанием предает он директорию, только молчанием он связан с Бонапартом и — выжидает, выжидает, выжидает. В эти мгновения крайнего напряжения, за две минуты до разряда, эта амфибия чувствует себя превосходно. Держать в страхе обе партии, быть человеком, перед

которым обе партии заискивают, чувствовать в своей руке колебание весов, — вот величайшее наслаждение для этого страстного интригана. Самая чудесная игра, вызывающая несравнимо большее напряжение, чем зеленый стол или любовные забавы, — эти мгновения, когда мировая игра подходит к развязке! Сознать в такие минуты, что властен ускорить или затормозить ход событий, и, несмотря на это сознание, держать себя в руках, не вмешиваться ни во что, как бы ни хотелось вступить в бой, — лишь наблюдать с волнующим, возбуждающим, почти порочным любопытством психолога, — вот единственное наслаждение, воспламеняющее его холодный ум; только оно возбуждает эту мутную жидкую, водянистую кровь. Лишь такое психологическое извращение, такая духовная, сладострастная узда может опьянить трезвого, лишённого нервов Жозефа Фуше. И в эти мгновения острого напряжения перед решающим выстрелом его обычно утрюмую серьёзность охватывает какая-то жестокая, дичинная веселость. Духовное сладострастие может разрядиться только в веселости, в добродушной или злой насмешке. И поэтому Фуше любит шутить именно тогда, когда другие находятся в величайшей опасности; как следовательно в «Преступлении и наказании», он выдумывает самые остроумные и поистине дьявольские шутки именно тогда, когда виновный трепещет от ужаса. В такие мгновения он любит мистифицировать; на этот раз он в самый злоедающий момент ставит веселую комедию; можно сказать, что подмости, на которых она разыгрывается, положены прямо на бочку с порохом. За несколько дней до государственного переворота (конечно, он заранее знает этот день) он зовет к себе гостей. Бонапарт, Реаль и другие заговорщики приглашены на этот интимный вечер, и вдруг, сидя за столом, они замечают, что их компания здесь в полном составе; министр полиции директории пригласил к себе всю камарилью, всех без исключения участников заговора против директории. Что это значит? Тревожным взглядом обменивается Бонапарт со своими приверженцами. Неужели за дверью уже стоят жандармы, чтобы одним ударом разрушить все гнездо государственного переворота? Некоторые из заговорщиков, может быть, припоминают нечто подобное в истории — роковую

трапезу, устроенную Петром Великим для стрельцов, когда палач подал к десерту их головы. Однако люди, подобные Фуше, не прибегают к такого рода жестокостям, — напротив того, когда, к общему удивлению заговорщиков, является еще один гость (и в самом деле это дьявольская затея!), а именно — президент Гойэ, против которого направлен их заговор, они становятся свидетелями следующего изумительного диалога. Президент справляется у министра полиции про последние события. «О, все одно и то же, — отвечает Фуше, лениво подымая веки и устремив взор в пространство. — Все та же болтовня про заговоры. Но я знаю, как к этому относиться. Если бы действительно существовал заговор, мы бы уже имели доказательство этого на площади Революции».

Этот тонкий намек на гильотину действует на заговорщиков, как прикосновение холодного лезвия. Они недоумевают; подтрунивает ли он над Гойэ, или над ними? Дурачит ли он их, или президента директории? Они не знают этого, не знает, вероятно, и сам Фуше, ибо для него существует лишь одно наслаждение на свете: сладострастие двойственности, жгучая прелесть и острая опасность двойной игры.

После этой веселой шутки министр полиции впадает опять в странную летаргию до самого решительного удара; он слеп и глух, в то время как половина сената подкуплена, армия на стороне заговорщиков. И удивительно — Жозеф Фуше, который, как всем известно, встает очень рано и всегда первый появляется у себя в министерстве, как-раз 18 брюмера, как-раз в день наполеоновского переворота охвачен изумительным, глубочайшим сном. Он охотно проспал бы весь день, но два посланца из директории поднимают его с постели и сообщают изумительно изумленному министру о странных происшествиях в сенате, о сборе отрядов и уже явном перевороте. Жозеф Фуше протирает глаза и прикидывается, как полагается, пораженным (несмотря на то, что он накануне вечером совещался с Бонапартом). Но, к сожалению, продолжать спать или притворяться спящим уже невозможно. Министру полиции приходится одеться и пойти в директорию, где его грубо встречает президент Гойэ, который не дает ему разыгрывать перед собой комедию изумления. «Ваш

долг был, — обращается он властно к нему, — оповестить нас об этом заговоре, и, без сомнения, ваша полиция могла своевременно знать о нем». Фуше спокойно проглатывает этот выговор и, как самый преданный исполнитель, просит дальнейших распоряжений. Но Гойэ резко прерывает его словами: «если директория пожелает дать приказания, она сообщит их людям, достойным ее доверия». Фуше смеется в душе: этот глупец, думает он, еще не знает, что его директория давно уже бессильна приказывать, что из пяти ее членов двое уже изменили, а третий подкуплен! Но зачем учить глупцов? Он холодно откланивается и отправляется на свое место.

Но где это место, Фуше, собственно говоря, еще не знает, — министр полиции старого или нового правительства, в зависимости от победы одного или другого. Лишь следующие сутки сделают выбор между директорией и Бонапартом. Первый день начался для Бонапарта удачно: сенат, крепко подвинченный обещаниями и хорошо смазанный взятками, механически исполняет все желания Бонапарта: делает его начальником отрядов и переносит заседание нижней палаты, Совета Пятисот, в Сен-Клу, где нет ни рабочих батальонов, ни общественного мнения, ни «народа», а лишь прекрасный парк, который можно герметически закупорить двумя отрядами гренадеров. Но этим партия еще не выиграна, ибо среди «Пятисот» есть десяток, другой несносных парней, которых не удастся ни подкупить, ни напугать; найдутся, пожалуй, даже и такие, которые будут с мечом или пистолетом в руках защищать республику от претендента на престол. При таком положении надо держать в порядке свои нервы, не давать себя увлечь ни симпатиям, ни тем более таким пустяком, как присяга, а сохранять спокойствие, выжидать, быть настороже, пока не придет решительный час.

И Фуше держит свои нервы в порядке. Едва Бонапарт выступил во главе конницы по направлению к Сен-Клу, едва последовали за ним в экипажах главные заговорщики, Талейран, Сийес и десятка два других, как вдруг, по приказанию министра, опускаются на парижских заставах шлагбаумы. Никто не смеет покинуть города, никто не смеет входить в него, кроме курьеров министра полиции. Никто из восьмисот тысяч жителей, кроме

этого энергичного человека, не должен знать, удался или не удался переворот. Каждые полчаса доносит ему курьер о ходе событий, а он все еще не принимает решения. Если одержит верх Бонапарт, то, разумеется, Фуше сегодня же вечером будет его министром и верным слугой; если он потерпит неудачу, Фуше останется верным слугой директории, готовый спокойно арестовать «мятежника». Известия, которые он получает, достаточно противоречивы, ибо в то время как Фуше величественно сохраняет самообладание, превосходящий его в гениальности Бонапарт теряет всякое самообладание: это 18 брюмера, подарившее Бонапарту европейское самодержавие, остается, словно в насмешку, пожалуй, самым жалким днем в личной жизни этого великого человека. Решительный в обращении с пушками, Бонапарт всегда теряется, когда ему приходится привлекать людей на свою сторону словами: долголетняя привычка командовать заставила его забыть искусство вербовки соратников. Он умеет, схватив знамя, мчаться впереди своих гренадеров, он умеет разбивать армии. Но напугать с трибуны нескольких республиканских адвокатов этому закаленному солдату не удастся. Много раз описывали, как незнающий поражений полководец, выведенный из равновесия презрительными возгласами депутатов, бормочет наивные и пустые фразы вроде: «бог войны за меня» и так позорно сбивается, что друзья торопятся убрать его с трибуны. Только штыки его солдат спасают героя Арколя и Риволи от жалкого поражения, которое готовы были ему нанести несколько крикливых адвокатов. Он становится опять повелителем и диктатором только тогда, когда садится на коня и приказывает солдатам разогнать собрание: рукоять сабли служит источником новых сил, вливающих в его смятенную душу.

В семь часов вечера все решено; Бонапарт — консул и самодержец Франции. Будь он побежден или отвергнут, Фуше тотчас бы велел расклеить на всех стенах Парижа патетическую прокламацию: «Подлый заговор раскрыт» и т. д. Но так как победил Бонапарт, то он считает эту победу своим достоянием. Не от Бонапарта, а от господина министра полиции Фуше узнает на следующий день Париж об окончательном падении республики, о начале

наполеоновской диктатуры. «Министр полиции дает знать своим согражданам, — говорится в этом лживом оповещении, — что совет собрался в Сен-Клу для обсуждения дел республики и что генерал Бонапарт, явившийся в Совет Пятисот, чтобы разоблачить революционные козни, едва не стал жертвой убийцы. Но гений республики спас генерала. Пусть республиканцы сохраняют спокойствие... ибо их желания теперь сбудутся... пусть успокоятся слабые, они находятся под защитой сильных... и только те должны бояться, кто нарушает спокойствие, смущает общественное мнение и подготавливает беспорядки. Приняты все меры, чтобы их подавить».

Снова Фуше чрезвычайно удачно применяется к обстоятельствам. И так нагло; так открыто среди бела дня совершается его переход к победителю, что постепенно в самых широких кругах начинают понимать политику Фуше. Спустя несколько недель театр одного из предместь Парижа ставит веселую комедию «Флюгер из Сен-Клу»; в этой всеми понятой и восторженно принятой комедии, слегка изменив имена, самым забавным образом высмеивали его изменчивый и все же осторожный нрав. Фуше в качестве цензора имел бы, конечно, возможность запретить подобное высмеивание его личности, но он обладал, к счастью, достаточным умом, чтобы не прибегать к этому. Он вовсе не скрывает своего характера, или, вернее, его отсутствие; напротив того, афиширует свое непостоянство и свою загадочность, потому что это окружает его своеобразным ореолом. Пусть над ним смеются, но пусть ему подчиняются, пусть его боятся.

Бонапарт — победитель, Фуше — тайный помощник и перебежчик, а Баррас, повелитель директории — жертва. Ему этот день дает, пожалуй, самый замечательный в мировой истории урок неблагодарности. Они оба, соединенными силами свалившие его и теперь, как назойливому просителю, швырнувшие миллионную подачку, были два года тому назад его креатурами, обязанными ему благодарностью созданиями, которых он вывел из ничтожества. Добродушный, легкомысленный любитель наслаждений *bon homme*, никому не мешающий жить, он, в прямом смысле этого слова, на улице подобрал маленького смуглого, попавшего в опалу, почти сосланного артиллерий-

ского офицера Наполеона Бонапарта и украсил его разорванную, еще не оплаченную военную шинель генеральскими нашивками; в один день он сделал его, обойдя всех других, комендантом Парижа, подсунул ему свою любовницу, наполнил карманы деньгами, выхлопотал главное командование итальянской армией и тем построил для него мост к бессмертию. Таким же образом он извлек Фуше из грязной мансарды в пятом этаже и спас его от гильотины; он единственный избавил Фуше от голода в дни, когда все о нем забыли, а потом дал ему положение и набил карманы золотом. И эти два человека, обязанные ему всем, спустя два года соединяются, чтобы швырнуть его в ту грязь, из которой он их вытащил, — действительно, мировая история, имеющая, конечно, мало общего с кодексом нравственности, не знает более яркого примера неблагодарности, чем поведение Наполеона и Фуше в отношении Барраса 18 брюмера.

Однако, неблагодарность Наполеона к своему покровителю находится, по крайней мере, оправдание в его гении. Великая мощь дает ему особые права, ибо гений, стремящийся к звездам, может, в случае надобности, и не замечать на своем пути людей, может злоупотреблять эфемерными явлениями, чтобы следовать более глубокому смыслу, незримому велению истории. Но поведение Фуше — это самая обычная неблагодарность абсолютно безнравственного человека, с совершенной наивностью обращающего внимание лишь на себя и свои выгоды. Фуше, если это ему нужно, может с ошеломляющей быстротой забыть все свое прошлое; дальнейшая его карьера даст еще более удивительные образцы этого своеобразного мастерства. Две недели спустя он посылает Баррасу, человеку, спасшему его от сухой гильотины и от ссылки, формальный приказ об изгнании, предварительно отобрав у него все бумаги: вероятно среди них были и его собственные письма с унижительными просьбами и доносами.

Баррас, смертельно обиженный, стискивает зубы; еще теперь слышен в его мемуарах их скрежет, когда он произносит имена Бонапарта и Фуше. Единственное его утешение — мысль, что Бонапарт оставляет Фуше при себе. Баррас предчувствует: один отомстит за него другому. Они недолго останутся друзьями.

Правда, в начале, в первые месяцы их совместной деятельности, гражданин министр полиции предоставляет себя преданнейшим образом в распоряжение гражданина консула («гражданин» продолжают еще тогда писать в официальных документах). Честолюбие Бонапарта пока удовлетворено званием первого гражданина республики. В те годы, взявшись за решение грандиозной задачи, с которой, вне всякого сомнения, не смог бы справиться никто, кроме него, он обнаруживает во всей полноте и многогранности свой юношеский гений; никогда образ Наполеона не предстает нам величественнее, созидательнее и гуманнее, чем в эпоху нового порядка. Ввести революцию в рамки закона, сохранить ее достижения и вместе с тем смягчить ее излишества, закончить войну победой и сделать победу осмысленной заключением достойного, честного мира — вот возвышенная идея, которую осуществляет новый герой с увлечением, с дальновзоркостью проницательного ума и упорной, прилежной энергией страстного работника. Не годы, воспетые в легендах, считающих его деяниями лишь кавалерийские атаки, а подвигами — завоевания стран, не годы Аустерлица, Эйлау и Вальддолида знаменуют геркулесовскую работу Наполеона Бонапарта, а годы, когда потрясенная, истерзанная партийными распрями Франция снова превращается в жизнеспособную страну, когда обесцененные ассигнации приобретают действительную ценность и заново выработанный наполеоновский кодекс придает закону и обычаю железные, но все же человеческие формы, когда этот государственный гений с одинаковым совершенством оздоравливает все органы государственного управления и заключает мир с Европой. Эти годы — а не годы военных действий — являются истинно творческими, и никогда его министры не работали бок-о-бок с ним честнее, энергичнее и преданнее, чем в эту эпоху. И в Фуше он находит безукоризненного слугу, вполне разделяющего его убеждение, что лучше прекратить гражданскую войну переговорами и уступками, чем насилиями и кознями. За несколько месяцев Фуше восстанавливает в стране полное спокойствие; он уничтожает последние гнезда как террористов, так и роялистов, очищает улицы от грабителей, и его бюрократическая энергия, точная в мелочах и единичных

мероприятиях, с готовностью подчиняется обширным государственным планам Бонапарта. Большие и благотворные дела всегда объединяют людей; слуга нашел своего господина, а господин — подходящего слугу.

С точностью до одного дня, до одного часа можно установить, когда впервые у Бонапарта появляется недоверие к Фуше, хотя этот эпизод и оставался обычно незамеченным в изобилии событий, насыщающих те годы; его открыл только орлиный взор Бальзака, умевший в незаметном прозревать существенное и в «*petit détail*»¹ — толчок к дальнейшим событиям; конечно, он несколько опозитизировал и разукрасил его. Эта сценка разыгрывается во время итальянского похода, который должен решить победу Австрии или Франции. В Париже 20 января 1800 года собрались взволнованные министры и советники. Курьер привез неблагоприятные известия с фронта при Маренго; он доносит, что Бонапарт совершенно разбит, французская армия отступает по всей линии. Каждый из собравшихся уже думает о том, что невозможно побежденного генерала оставить в должности первого консула; все уже заняты мыслями о его преемнике. Насколько ясно были выражены эти мысли, осталось неизвестным, но меры к подготовке переворота, несомненно, обсуждались, и братья Наполеона заметили это. Дальше всех зашел, вероятно, Карно, который хотел было тотчас восстановить старый Комитет общественного спасения; что касается Фуше, то он, верный своему нраву, вероятно, хранил молчание и не отстаивал мнимо побежденного консула, чтобы иметь возможность остаться, если будет нужно, у старого хозяина, в противном же случае перейти к новому. Но на следующий день прибывает другой курьер, с противоположными известиями, — о блестящей победе при Маренго: в последний час на помощь Бонапарту подоспел, благодаря своей гениальной военной интуиции, генерал Дезе и превратил поражение в победу. Во сто раз более сильный, чем при выступлении, совершенно уверенный теперь в своем могуществе, возвращается через несколько дней в Париж первый консул — Бонапарт. Без сомнения, он тотчас же узнал, что все министры и

¹ Малкой деталя.

лица, пользующиеся его доверием, готовы были при первом известии о поражении немедленно же выкинуть его за борт, и первой жертвой падает слишком далеко зашедший Карно; его лишают министерства. Остальные, и Фуше в том числе, остаются на своих местах; этого чересчур осторожного человека не уличить в неверности, хотя он не повинен и в верности. Он себя не компрометировал, но и не отличился, показав себя тем же, каким был всегда: надежным в счастье и ненадежным в несчастье. Бонапарт его не увольняет, не упрекает, не наказывает. Но с этого дня он ему больше не доверяет.

Этот маленький, почти забытый историей эпизод пускает ростки многообразных психологических узоров. Он очень ясно напоминает о том, что правление, основанное только на оружии и победе, неминуемо падает после первого же поражения и что каждый властелин, лишенный естественных прав на престол, должен непременно и своевременно позаботиться о создании другого законного основания. Сам Бонапарт, сознающий свою силу, наделенный непоколебимым оптимизмом, свойственным гениальным натурам в дни их расцвета, был, пожалуй, склонен не замечать этого тонкого обстоятельства; он — но не его братья. Наполеон — это слишком часто забывают все его историки — пришел во Францию не один: он был окружен голодным, жаждущим власти семейным кланом. Прежде его матери и четверем братьям, не имевшим службы, казалось достаточным, что их поддержка, их Наполеон женится на богатой дочери фабриканта, чтобы дать возможность своим сестрам купить несколько платьев. Но когда он так неожиданно достиг власти, они все торопливо цепляются за него, чтобы он тащил за собой всю семью; они тоже жаждут величия, они хотят всю Францию, а впоследствии и весь мир сделать семейной вотчиной Бонапартов; их нечистоплотная, ненасытная, не оправданная ни малейшей долей гениальности грубая жадность обрушивается на брата с требованием, чтобы он принял меры к превращению его власти, зависящей от благоволения народа, в независимую и постоянную, в наследственное королевство. Они требуют, каждый для себя, владений, требуют, чтобы он стал королем или императором; они хотят, чтобы он развеялся с Жозефиной и

женится на баденской принцессе — не осмеливаясь еще допустить мысли о браке с сестрой царя или одной из дочерей Габсбургов. Своими непрерывными интригами они разлучают его со старыми товарищами, со старыми идеями, толкают его от республики к реакции, от свободы к деспотизму.

Этому вечно подкапывающемуся, ненасытному, неприятному клану одиноко и довольно беспомощно противостоит Жозефина, супруга консула. Она знает, что каждый шаг к величию, к самодержавию удаляет ее от Бонапарта, ибо она не может дать королю или императору то, что совершенно необходимо для поддержания династической идеи: наследника, а с ним и прочную власть. Только немногие из советников Бонапарта стоят на ее стороне (денег для раздачи у нее нет, она кругом в долгах), и тут-то самым верным ее другом оказывается Фуше. Уже давно он с недоверием наблюдает, до каких неожиданных размеров, благодаря неожиданным успехам, вырастает честолюбие Бонапарта, с каким упорством он освобождается от каждого искреннего республиканца и заставляет его преследовать как анархиста и террориста. Своим острым недоверчивым взором он видит, что, говоря словами Виктора Гюго: «*Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte*»,¹ что из-за облика генерала зловеще выглядывает император, за гражданином стоит самодержавный властелин. Для него, навсегда связанного с республикой голосованием против короля, сохранение республики, республиканской формы правления — вопрос жизни и смерти. Поэтому он боится монархии, поэтому борется тайно и явно бок-о-бок с Жозефиной.

Этого клан не может ему простить. И с корсиканской ненавистью они следят за каждым его шагом, чтобы, едва он споткнется, толкнуть в пропасть неудобного человека, мешающего процветанию их дел.

Они ждут долго и нетерпеливо. Внезапно является возможность подставить ножку Фуше. 24 декабря 1800 года Бонапарт отправляется в оперу, чтобы присутствовать на премьере оратории Гайдна «Сотворение мира»; вдруг, в узкой улице Никез, за его каретой взлетает такой

¹ За Бонапартом уже выглядывал Наполсон.

сильный фонтан осколков, пороха и мелких пуль, что куски перебрасываются через все дома: покушение, знаменитая адская машина. Только бешеная быстрота его, как говорят, пьяного кучера спасла первого консула, но сорок человек лежат окровавленные на улице, а карета, как раненый зверь, вздымается на дыбы и подбрасывается вверх напором воздуха. Бледный, с окаменевшим лицом, продолжает Бонапарт свой путь в оперу, чтобы продемонстрировать восторженной публике свое хладнокровие. С равнодушным, непроницаемым видом внемлет он нежным мелодиям старика Гайдна и с притворным спокойствием благодарит за шумные приветствия, в то время как сидящая рядом с ним Жозефина дрожит от нервного потрясения и еле удерживает слезы.

Но что это хладнокровие было лишь искусно разграниченной комедией, почувствовали все министры и государственные советники, как только он вернулся из оперы в Тюильри. Его гнев обрушивается главным образом на Фуше; Наполеон неистово набрасывается на бледного, онемевшего министра: он, как министр полиции, давно должен был проследить такой заговор, а он с преступной снисходительностью шадит своих друзей, своих бывших товарищей по якобинским преступлениям. Фуше спокойно возражает, указывая, что не выяснено, подготовлено ли это покушение якобинцами; по его личному убеждению в этом деле играют главную роль роялистские заговорщики и английские деньги. Но спокойный тон его возражений еще сильнее озлобляет первого консула: «Это якобинцы, террористы, мятежные негодяи, сплоченной массой действующие против всех правительств. Они — эти злодеи — готовы принести в жертву тысячи жизней, чтобы убить меня. Но я расправлюсь с ними так, что это послужит уроком для всех им подобных». Фуше осмеливается еще раз высказать свои сомнения. Тут вспыльчивый корсиканец готов уже прямо наброситься на министра, так что Жозефине приходится вмешаться и схватить его за руку. Но Бонапарт вырывает руку и в быстром потоке слов высчитывает Фуше все убийства и преступления якобинцев, — декабрьские дни в Париже, республиканские кровавые ночи в Нанте, резню заключенных в Версале, — ясный намек на лионского «Mitrailleur'a», на его

собственное прошлое. Но чем больше повышает гелее Бонапарт, тем упорнее молчит Фуше. Ни один мускул не дрожит на его непроницаемом лице, пока сыплются обвинения, пока братья Наполеона и придворные насмешливо перемигиваются, смотря на министра полиции, который наконец попался. С ледяным спокойствием отвергает он все подозрения, с ледяным спокойствием покидает он Тюильри.

Его падение кажется неизбежным. Наполеон остается глухим к просьбе Жозефины, защищающей Фуше. «Разве он сам не был одним из их вождей? Разве мне неизвестны его проделки в Лионе и на Луаре? После Лиона и Луары меня не удивляет поведение Фуше», гневно восклицает он. Уже стараются угадать имя нового министра полиции, уже придворные третируют Фуше, уже кажется (как часто бывало), что он окончательно устранил.

В последующие дни положение не улучшается. Бонапарт продолжает утверждать, что это покушение — дело рук якобинцев, он требует решительных мер, строгого наказания. И когда Фуше намекает ему и другим, что имеет иные подозрения, его встречают насмешками и презрением. Все глупцы смеются и издеваются над простодушным министром полиции, не желающим расследовать это ясное дело; все его враги торжествуют, что он так упорно настаивает на своей ошибке. Фуше никому не отвечает. Он не спорит, он молчит. Он молчит две недели, молчит и беспрекословно повинуетя даже тогда, когда ему приказывают составить список ста тридцати радикалов и бывших якобинцев, подлежащих изгнанию, отправке в Гвиану, на «сухую гильотину». Не моргнув глазом, он составляет декрет, которым предает суду последних монтаньяров, последних деятелей «горы», последователей его друга Бабефа — Топино и Арена, единственное преступление которых в том, что они публично сказали про Наполеона, будто он украл в Италии несколько миллионов и с их помощью хочет купить самодержавие. Против своего убеждения он позволяет изгонять одних, казнить других; он молчит, как священник, связанный тайной исповеди, с замкнутыми устами присутствующий при осуждении невинного. Ибо Фуше давно уже напал на

след, и пока другие насмеваются над ним, а сам Бонапарт ежедневно иронически упрекает его за глупое упорство, он собирает в своем доступном для немногих кабинете неоспоримые доказательства того, что покушение действительно подготовлено шуанами — королевской партией. И, принимая в государственном совете и в приемных Тюильри, в ответ на все нападки, холодный, вялый, равнодушный вид, он лихорадочно работает с лучшими агентами в своей секретной комнате. Обещаны громадные награды, все шпионы и сыщики Франции подняты на ноги, весь город привлекается в качестве свидетелей. Уже опознана разорванная на куски кобыла, привезшая адскую машину, и установлен ее бывший хозяин, уже подробно описаны люди, купившие ее, уже установлены, благодаря мастерски составленной «biographie chouannique»¹ (собранный Фуше словарь эмигрантов и роялистов, всех «шуанов», заключающий сведения о них и их жизнеописания), имена преступников, а Фуше все еще продолжает хранить молчание. Все еще стойчески разрешает он издеваться над собой, и враги его торжествуют, Все быстрее ткутся последние нити, образующие неразрывную сеть; еще несколько дней — и ядовитый паук будет пойман. Еще несколько дней! Ибо Фуше, когда задето его честолюбие, унижена его гордость, стремится не к маленькой или посредственной победе над Бонапартом и всеми, кто упрекает его в неосведомленности, — он стремится к полному, потрясающему триумфу, он хочет создать свое Маренго.

И вот спустя две недели он внезапно наносит удар. Заговор окончательно открыт, все следы отчетливо выяснены. Зачинщиком был, как и предполагал Фуше, самый грозный из всех шуанов — Кадудаль, и непримиримые роялисты, купленные на английские деньги, были его подручными.

Как удар молнии поражает это сообщение его врагов. Они видят: напрасно и несправедливо осуждены сто тридцать человек, слишком рано, слишком нагло они издевались над этим непроницаемым человеком; еще более сильным, более уважаемым и более грозным для об-

¹ Биографии шуанов.

щества стал непогрешимый министр полиции. С гневом и удивлением глядит Бонапарт на железного калькулятора, лишний раз доказавшего правильность своих хладнокровных расчетов. Он должен нехотя согласиться: «Фуше рассудил лучше многих других. Он прав. Нужно зорко следить за вернувшимися эмигрантами, за шуанами и всеми принадлежащими к этой партии». Фуше, благодаря этому делу, приобрел в глазах Наполеона большой вес, но не любовь. Никогда самодержцы не бывают благодарны человеку, обнаружившему их ошибку или несправедливость, и бессмертным остается рассказ Плутарха о солдате, который спас жизнь королю во время сражения и, вместо того чтобы бежать, как правильно советовал ему мудрец, остался, рассчитывая на благодарность короля; он поплатился за это головой. Короли не любят тех, кто был свидетелем их бесчестия, и деспотические натуры не терпят советников, которые хоть раз оказались умнее их.

В такой узкой области, как полицейская деятельность, Фуше достиг высшего триумфа. Но как ничтожен этот триумф по сравнению с триумфами Бонапарта в последние два года консульства! Ряд своих побед этот диктатор увенчал прекраснейшей победой — заключением мира с Англией, конкордатом с церковью: эти самые могущественные владыки мира, благодаря его энергии, его творческому превосходству — ныне уже не враги Франции. Страна умиротворена, финансы приведены в порядок, положен конец партийным распрям, все противоречия изжиты: в стране появляется изобилие, индустрия заново развивается, искусства оживают, настал век Августа, и уже недалек час, когда Август сможет именоваться Цезарем. Фуше, который знает каждое побуждение и каждую мысль Бонапарта, ясно видит, куда метит честолюбие корсиканца: его уже не удовлетворяет роль главы республики, и он стремится на всю жизнь, навеки сделать личной собственностью и собственностью своей семьи спасенную им страну. Консул республики, конечно, никогда не выказывает публично своего противоречащего республиканскому духу честолюбия, но при случае он дает понять своим наперсникам, что хотел бы получить от сената выражение благодарности в форме особого акта

доверия «*témoignage éclatant*».¹ В глубине души он жаждет иметь своего Марка Антония, — положительного, верного слугу, готового потребовать для него императорской короны, и Фуше, хитроумный и гибкий, мог бы теперь заслужить его вечную благодарность.

Но Фуше отказывается от этой роли — или, вернее, он не отказывается от нее открыто, а с притворной услужливостью старается исподтишка пресечь эти намерения. Он противник братьев Наполсона, противник бонапартистского клана, он на стороне Жозефины, объятай страхом и беспокойством перед этим последним шагом ее мужа на пути к престолу; она знает, что не долго ей тогда придется оставаться его супругой. Фуше предостерегает ее от открытого сопротивления: «Сохраняйте спокойствие, — советует он ей, — вы напрасно становитесь поперек дороги вашему супругу. Ваши заботы ему надоедают, а мои советы он принял бы за оскорбление». Фуше, верный своим привычкам, пытается подпольным путем помешать исполнению честолюбивых желаний; пользуясь тем, что Бонапарт, побуждаемый притворной скромностью, не высказывается откровенно, он, также как и некоторые другие, *moignage éclatant*», нашептывает сенаторам, что великий когда сенат собирается предложить Бонапарту «тэчеловек, будучи верным республиканцем, не желает ничего, кроме продления срока консульства на десять лет. Сенаторы, убежденные, что почтят и обрадуют этим Бонапарта, торжественно принимают соответственное решение. Но Бонапарт, понимая эту коварную игру и прекрасно зная, кто ею руководит, приходит в ярость, когда ему приносят этот нежелательный нищенский дар. Депутация встречена полным равнодушием. Когда мысленно уже ощущаешь вокруг чела холодок золотой короны, тогда эти десять ничтожных лет представляются пустым орехом, который с презрением давишь ногой.

Наконец, Бонапарт сбрасывает личину скромности и ясно выражает свою волю: — пожизненное консульство! И под этим жалким покровом просвечивает видная каждому зрячему будущая императорская корона. И так велика в эту эпоху сила Бонапарта, что народ миллион-

¹ Неопровержимого доказательства.

ным большинством голосов претворяет его желание в закон и избирает его (как они и он полагают) пожизненным властелином. Конец республике — нарождается монархия.

Клика братьев и сестер, корсиканский семейный клан, не забывает, что Жозеф Фуше препятствовал исполнению желания нетерпеливого претендента на престол. И, теряя терпение, они торопят Бонапарта избавиться от неприятного стремянного, — ведь он теперь достаточно крепко сидит в седле. К чему, говорят они, когда страна единогласно согласилась признать его пожизненным консулом, когда изжиты противоречия, улажены споры, — к чему держать при себе этого ревностного сторожа, который следит не только за страной, но и за их собственными проделками? Долой его! Покончить с ним, отстранить этого вечного интригана и врага! Беспрестанно, нетерпеливо, упорно и настойчиво они уговаривают еще колеблющегося брата.

Бонапарт в глубине души разделяет их взгляд. И ему мешает этот слишком осведомленный и постоянно пополняющий свою осведомленность человек, эта серая, ползущая за его сиянием тень. Но нужен предлог, чтобы отстранить министра, который так отличился, который пользуется в стране неограниченным уважением. Кроме того, этот человек приобрел за это время силу, и потому лучше не делать из него открытого противника. Он посвящен во все секреты, он до ужаса хорошо знает все, подчас нечистоплотные, интимные дела корсиканского клана, поэтому не следует его грубо оскорблять. И вот придумывают ловкий, тонкий предлог, который дает возможность не придавать уходу Фуше характера немилости: министра Жозефа Фуше вовсе не увольняют, но он так мастерски исполнял свои обязанности, что ныне должность наблюдателя за гражданами является излишней, и министерство полиции можно упразднить. Итак, упраздняют не министра, а министерство, т. е. место, которое занимал Фуше, тем самым, естественно, и его самого.

Чтобы избавить этого чувствительного человека от жестокого удара, которым его выставляют за дверь, отставку преподносят в осторожной форме. Потерю поста заменяют назначением в сенаторы, и письмо, в котором Бонапарт

сообщает об этом повышении в должности, гласит следующее: «Гражданин Фуше, исполняя должность министра полиции в самые тяжелые годы, своим талантом и энергией, своей преданностью государству всегда соответствовал требованиям, выставляемым событиями. И предоставляя ему место в сенате, правительство помнит, что если настанет время, когда снова понадобится министр полиции, оно не найдет человека, более достойного его доверия». Кроме того, заметив, как прочно примирился бывший коммунист со своим прежним врагом — деньгами, — Бонапарт строит ему великолепный золотой мост к отставке. Когда министр представляет при передаче дел два миллиона четыреста тысяч франков, как ликвидационный остаток сумм полиции, Бонапарт попросту дарит ему половину, — другими словами, миллион двести тысяч франков. Кроме того, обращенный враг денег, испугленно громивший десять лет тому назад «грязный и развращающий металл», получает в качестве прибавки к сенаторскому титулу майорат Экс, маленькое княжество, простирающееся от Марсея до Тулона и оцененное в десять миллионов франков. Бонапарт изучил его; он знает беспокойные руки азартного интригана, и так как их трудно связать, он предпочитает их нагрузить золотом. История знает немного случаев, когда министра увольняли с большими почестями, а главное с большими предосторожностями, чем Жозефа Фуше.

ГЛАВА ПЯТАЯ

МИНИСТР ИМПЕРАТОРА

1804—1811

В 1802 году Жозеф Фуше, или, вернее, его превосходительство господин сенатор Жозеф Фуше, по настойчивому, хотя и мягко выраженному желанию первого консула удаляется опять в частную жизнь, из которой он вышел десять лет тому назад. Это было невероятное десятилетие, смертоносное и роковое, преобразившее мир и грозное для жизни, но Жозеф Фуше сумел прекрасно его использовать. Он не скрывается, как в 1794 году, в нетопленной, жалкой мансарде под самой крышей, а покупает себе красивый, хорошо обставленный дом на улице Черутти, принадлежавший, вероятно, некогда одному из «подлых аристократов» или «гнусных богачей». В Ферриер, будущей резиденции Ротшильдов, он устраивает себе великолепное летнее пребывание, получая аккуратно высылаемые ему доходы из своего княжества в Провансе, майората Экс. Да и вообще он образцово владеет благородным искусством алхимиков делать изю всего золото. Его протеже на бирже предоставляют ему участие в своих делах, он выгодно расширяет свое имение, — еще несколько лет, и человек, подписавший первый коммунистический манифест, станет вторым по богатству гражданином Франции, самым крупным землевладельцем в стране! Лионский тигр превратился в настоящего запасливого хомьяка, умного, бережливого капиталиста и процентщика. Это фантастическое богатство политического выскочки не меняет его врожденной нетребовательности, еще возросшей

благодаря суровой монастырской дисциплине. Имея пятнадцать миллионов, Жозеф Фуше живет едва ли иначе, чем в то время, когда он с трудом мог наскрести в своей мансарде необходимые ему ежедневно пятнадцать су; он не курит, не пьет, не играет в карты, не тратит денег на женщин и на удовольствия. Совсем как обыкновенный сельский дворянин прогуливается он мирно по своим лугам со своими детьми, — после двух первых, погибших от лишений, у него родилось еще трое детей, — устраивает время от времени маленькие приемы, слушает музыку, которой друзья развлекают его жену, читает книжки и с удовольствием ведет умные разговоры; глубоко внутри, совершенно незаметно, таится в этом рассудительном, ширококостном мещанине дьявольская страсть к азартной игре в политике, к напряженной и опасной игре в мировом масштабе. Его соседи не замечают, они видят только честного помещика, прекрасного отца семейства, нежного супруга. И никто из тех, кто не знал его по службе, не подозревает, что скрывающаяся под этой приветливой молчаливостью и с трудом подавляемая страсть стремится снова вырваться и во все вмешаться.

О, власть с ее взглядом Медузы! Кто однажды заглянул ей в лицо, тот не может более отвести от нее взора: он остается зачарованным и неподвижным. Кто раз испытал пьянящее наслаждение господства и власти, не в состоянии более от нее отказаться. Перелистайте мировую историю, найдите пример добровольного отказа: кроме Суллы и Карла V, среди тысяч и десятков тысяч, едва ли найдется какой-нибудь десяток людей, которые, пресытившись и сохранив полное сознание, отказались от почти преступной страсти играть судьбою миллионов. Так же точно, как игрок не может отказаться от игры, пьяница от питья, браконьер от охоты, Жозеф Фуше не может отойти от политики. Покой тяготит его, и в то время как он весело, с хорошо разыгранным равнодушием, подражает Цинцинату у плуга, у него уже горят пальцы и трепещут нервы от желания вновь схватить политические карты. Хотя и уволенный, он продолжает добровольно нести политическую службу, и для упражнения в письме, для того, чтобы не быть окончательно за-

бытым, посылает еженедельно первому консулу тайные информации. Это забавляет его, занимает его ум интригана, ни к чему не обязывая, но не дает ему действительного удовлетворения. Его мнимое удаление от дел есть не что иное, как лихорадочное ожидание минуты, когда можно будет, наконец, вновь схватить узду в свои руки, почувствовать власть над людьми, над судьбой мира, власть!

Бонапарт видит по многим признакам, как нетерпеливо рвется вперед Фуше, но ему угодно не замечать этого. Пока он может держать вдали от себя этого человека с неприятным умом, неприятным трудолюбием, он его оставит в тени; с тех пор как поняли, сколько упорства и силы в этом скрытном человеке, Фуше более не принимают на службу, разве только для неотложного и опасного дела. Консул оказывает ему всевозможные милости, пользуется им для различных дел, благодарит его за хорошую информацию, приглашает его время от времени в государственный совет, а главное, дает ему возможность заработать и обогатиться, только бы он держал себя спокойно; одному он упорно противится, пока есть возможность: дать ему снова назначение и возродить министерство полиции. Пока Бонапарт силен, пока он не делает ошибок, он не нуждается в таком сомнительном и слишком умном слуге.

К счастью для Фуше, Бонапарт совершает ошибки. Прежде всего всемирно-историческую и непростительную ошибку: ему уже не достаточно быть Бонапартом; кроме уверенности в себе самом, кроме торжества своей исключительности, он жаждет еще тусклого блеска легитимности, пышности титула. Тот, кому некого было бояться, благодаря его силе, его единственной могучей личности, пугается тени прошлого, бессильного нимба изгнанных Бурбонов. И побуждаемый Талейраном, нарушая международное право, он отдает приказ вывести с помощью жандармов из нейтральной области герцога Энгийского и расстрелять его, — поступок, для которого Фуше придумал знаменитые слова: «Это было более чем преступление, это была ошибка». Эта казнь создает вокруг Бонапарта безвоздушное пространство, наполненное страхом и ужасом, негодованием и ненавистью. И вскоре ему по-

кажется нужным снова укрыться под покров тысячеголового Аргуса, под защиту полиции.

И затем, и это самое важное: в 1804 году консул Бонапарт снова нуждается в ловком и беззастенчивом помощнике для своего наивысшего взлета. Ему опять нужен стремящийся. То, что два года тому назад носилось пред ним как крайний предел честолюбивых мечтаний, пожизненное консульство, представляется ему, высоко вознесшемуся на крыльях успеха, уже снова недостаточным. Он уже не хочет быть только первым гражданином среди других граждан, а хочет быть господином и владыкой над подданными; он страстно желает освежить горячее чело золотым обручем императорской короны. Но тот, кто хочет сделаться Цезарем, нуждается в Антонии, и хотя Фуше долго играл роль Брута (а раньше даже роль Катилины), однако, проголодавшись после двух лет политического поста, он, оказывается, охотно готов выудить эту корону у сената, превратившегося в стоячее болото. Приманкой служат деньги и добрые обещания. И вот мир видит удивительное зрелище, как бывший председатель Якобинского клуба, а в настоящее время его превосходительство обменивается в коридорах сената подозрительными рукопожатиями, как он настаивает и нашептывает до тех пор, пока несколько услужливых византийцев не вносят предложение: «создать такое учреждение, которое навсегда бы разрушило надежды заговорщиков, гарантируя непрерывность правления за пределами жизни носителя власти». Если вскрыть напыщенность этой фразы, то обнаруживается ее ядро — намерение превратить пожизненного консула Бонапарта в наследственного императора Наполеона. Вероятно, перу Фуше (которое одинаково хорошо пишет и маслом и кровью) принадлежит та раболепная покорная петиция сената, которая приглашает Бонапарта «завершить дело его жизни, придав ему бессмертие». Немногие более усердно содействовали окончательной гибели республики, чем Жозеф Фуше из Нанта, бывший депутат Конвента, бывший председатель Якобинского клуба, *Mitrailleur de Lyon*, боровшийся с тиранами, и некогда самый республиканский из республиканцев.

За наградой дело не стало. В 1804 году, после двух

Лет золотого изгнания, его величество император Наполеон назначает опять министром его превосходительство господина сенатора Фуше так же, как раньше гражданин Фуше получил это назначение от гражданина консула Бонапарта. В пятый раз Жозеф Фуше приносит присягу на верность, — первая присяга была принесена еще королевскому правительству, вторая — Республике; третья — Директории, четвертая — Консульству. Но Фуше только 45 лет: как много времени остается еще для новых присяг, новой верности и новых измен! И со свежими силами бросается он снова в бурные волны излюбленной им стихии, верный присяге новому императору, но, в сущности, подчиняясь только собственному беспокойному духу.

Десять лет стоят на сцене мировой истории — или, вернее, на заднем ее плане — обе эти фигуры друг против друга, Наполеон и Фуше. Судьба связала их, вопреки обоюдному инстинктивному сопротивлению. Наполеон не любит Фуше, Фуше не любит Наполеона. Несмотря на взаимное тайное отвращение, они пользуются друг другом, связанные единственно притяжением противоположных полюсов. Фуше хорошо знает великий и опасный демонический дух Наполеона; он знает, что еще в течение десятков лет мир не создаст более гения, столь достойного того, чтобы ему служить. Наполеон, со своей стороны, знает, что никто так быстро не понимает его, как этот трезвый, светлый, ясно все отражающий, зеркальный взгляд шпиона, как этот трудолюбивый, одинаково пригодный для злых и для добрых дел талант, которому недостает только одного, чтобы быть вполне совершенным слугой: безусловной преданности, верности.

Ибо Фуше никогда не будет ничьим слугой и еще менее лакеем. Никогда не поступится он вполне своей духовной независимостью, собственной волей ради чужого дела. Наоборот: чем более бывшие республиканцы, превратившиеся в новое дворянство, подчиняются сиянию, исходящему от императора, чем быстрее они превращаются из советников в льстецов и прихлебателей, тем более выпрямляется спина у Фуше. Конечно, невозможно выступить с открытым возражением, с определенно противоположным мнением перед неуступчивым императором, все более приобретающим кесарские замашки. В Тюиль-



Жозеф Фуше

С портрета работы Клода Мари Дюбуфа

рийском дворе уже давно отменены товарищеская откровенность, свободное выражение мнений между гражданами; император Наполеон, к которому его старые боевые товарищи, даже его собственные братья (как, должно быть, они улыбаются!) должны обращаться не иначе, как «Sire»,¹ которому ни один смертный, за исключением его жены, не смеет говорить «ты», не желает больше выслушивать советов своих министров. Бывало, с растрепанным жабо и расстегнутым воротом гражданин министр Фуше входил к гражданину консулу Бонапарту; теперь не то, — теперь министр Жозеф Фуше отправляется на своего рода аудиенцию к императору Наполеону, затянутый в пышный придворный мундир, с вышитым золотом высоким воротом, туго облегающим шею, в черных шелковых чулках и блестящих башмаках, увешанный орденами, с шляпой в руке. «Господин» Фуше должен сперва почтительно склониться перед былым товарищем, соучастником в заговоре, прежде чем обратиться к нему со словами «ваше величество». С поклоном он должен войти, с поклоном — выйти, а вместо интимной беседы должен без возражений выслушивать отрывисто даваемые приказания. Не может быть никакого несогласия с мнением этой бурной волевой натуры.

По крайней мере никакого открытого. Фуше слишком хорошо знает Наполеона, чтобы в случае различия мнений и желаний навязывать ему свои. Он допускает, чтобы ему приказывали, командовали им, как другими льстецами и низкопоклонными министрами императорской эпохи, но с той только маленькой разницей, что он не всегда повируется этим приказанием. Если он получает приказание произвести аресты, которых сам не одобряет, то он либо тихонько предупреждает угрожаемых лиц, либо, если уж необходимо их наказать, повсюду указывает, что это произошло не по его собственному желанию, а по определению выраженному приказанию императора. Наоборот, одолжения и любезности он расточает как исходящие от него милости. Чем более властно держит себя Наполеон, — и действительно, достойно изумления, как этот, от природы властолюбивый темперамент, по мере расширения своего

¹ Государь.

могущества, становится все неудержимее и автократичнее, — тем более любезно, примирительно держит себя Фуше. И таким образом, не произнося ни одного слова против императора, а действуя одними легкими намеками, улыбками, умолчаниями, он один образует ясную и, вместе с тем, неуловимую оппозицию против нового правления божьей милостью. Он уже давно не берет на себя опасного труда навязывать то, что он считает истиной; он знает, что у императоров и королей, даже если они раньше назывались Бонапартами, подобные вещи не в ходу. Только иногда, между прочим, вроде контрабанды, он зло подсовывает ему в своих ежедневных донесениях истинные сведения. Вместо того, чтобы сказать «я думаю», «я полагаю» и получить нагоняй за эту самостоятельность мнения и мысли, он в своих рапортах пишет «говорят» или «один посланник сказал»; таким способом в ежедневный трюфельный паштет пикантных новостей ему удается воткнуть несколько зернышек перца по поводу императорской семьи. С побелевшими губами должен Наполеон читать о позорных и грязных похождениях своих сестер, похождениях, записанных в виде «зловредных слухов», а затем еще едкие и злые шутки о себе самом, меткие, острые замечания, которыми ловкое перо Фуше намеренно приправляет бюллетень. Сам не произнося ни слова, дерзкий слуга преподносит время от времени своему неприветливому господину неприятные истины и следит, вежливо и бесстрастно присутствуя при чтении, как суровый господин корчится, читая их. Это маленькая месть Фуше лейтенанту Бонапарту, который, надевши императорский мундир, желает, чтобы его прежние советники стояли перед ним дрожа и согнув спину.

Совершенно ясно: эти два человека мало симпатизируют друг другу. Как Фуше слуга не слишком приятный для Наполеона, так и Наполеон не слишком приятный господин для Фуше. Не было случая, чтобы к полицейским донесениям, которые кладут ему на стол, он отнесся небрежно или доверчиво. Он исследует своим орлиным взором каждую строку, подмечая малейшую неувязку, пустейшую ошибку; тут он обрушивается на своего министра и бранит его, как школьника, в порыве своего неудержимого корсиканского темперамента. Коллеги из со-

вета министров, подслушивающие у дверей, заглядывающие в замочную скважину, согласно утверждают, что именно хладнокровие, с которым Фуше возражал, раздражало своей противоположностью императора. Но даже помимо их свидетельств (все мемуары того времени следует читать с лупой в руках) это совершенно ясно, потому что даже в письмах слышно, как гремит его суровый, резкий, начальнический голос: «Я нахожу, что полиция недостаточно строго следит за прессой, — поучает он старого испытанного министра или дает ему нахлобучку: — Можно подумать, что в министерстве полиции не умеют читать, там ни о чем не заботятся». Или: «Я ставлю вам на вид, чтобы вы держались в рамках вашей деятельности и не вмешивались во внешние дела». Наполеон беспощадно пробирает его (об этом мы знаем из сотни показаний) даже в присутствии свидетелей, перед адъютантами и государственным советом, а когда найдет на него припадок гнева, то он не останавливается даже перед тем, чтобы напомнить ему о Лионе, о его террористической деятельности, называет его убийцей короля, изменником. Но Фуше, холодный, как лед, наблюдатель, который за десять лет в совершенстве изучил весь механизм этих гневных вспышек, Фуше знает, что иногда они закипают произвольно в крови этого горячего человека, но что, с другой стороны, иногда Наполеон производит их, как актер, вполне сознательно, и Фуше не пугается ни перед истинными, ни перед театральными бурями, не так, как австрийский министр Кобенцль, который задрожал от страха, когда император бросил к его ногам ценную фарфоровую вазу; Фуше не смутит ни искусственно разыгрываемый гнев, ни действительное бешенство императора. Он спокойно стоит со своим бесцветным, похожим на маску, белым, как известь, лицом, не моргая, не выдавая своего волнения ни одним нервом, в то время как на него обрушивается целый поток слов; только разве, когда он выходит из комнаты, на его тонких губах змеится ироническая или злая улыбка. Он не дрожит даже тогда, когда император кричит ему: «вы изменник, я должен был бы велеть расстрелять вас», а отвечает обычным деловым тоном, не меняя голоса: «Я другого мнения, Sire». Сотни раз слышит он, как ему отказывают,

грозят изгнанием, снятием со службы, и тем не менее уходит совершенно спокойно, вполне уверенный в том, что на следующий день император опять позовет его. И всегда он оказывается правым. Потому что, несмотря на свое недоверие, свой гнев и свою тайную ненависть, Наполеон, в течение целого десятилетия, до последнего часа, не может совершенно избавиться от Фуше.

Эта власть Фуше над императором, составлявшая загадку для всех современников, не заключает в себе, однако, ничего магического и гипнотического. Это приобретенная власть, выработанная и рассчитанная благодаря упорству, ловкости и систематическому наблюдению. Фуше много знает, он знает даже слишком много. Он знает все тайны императора не только вследствие общительности последнего, но и против его желания, и держит в руках как все государство, так и своего господина благодаря безграничной и почти магической своей осведомленности. Через собственную жену императора, Жозефину, известны ему самые интимные детали его супружеского ложа, через Барраса каждый его шаг, когда он поднимается по винтовой лестнице; благодаря своим собственным связям с денежными людьми, он контролирует все частные денежные дела императора, от него не укрываются ни грязные подробности семьи Бонапартов, ни игорные проделки его братьев, ни мессалинские приключения Полины. Так же точно для него не составляют тайны супружеские измены его господина. Когда Наполеон в одиннадцать часов ночи, завернувшись в чужой плащ и почти замаскированный, пробирается через потайную боковую дверь Тюильрийского дворца к своей возлюбленной, то на следующее утро Фуше знает, куда поехал экипаж, сколько времени пробыл император в том доме, когда он вернулся; он даже имеет возможность однажды пристыдить властелина мира, сообщив ему, что эта избранница обманывает его, самого Наполеона, с каким-то безвестным актеришкой. Каждое важное письмо из кабинета императора, благодаря подкупленному секретарю, попадает в копии к Фуше, и некоторые из высших и низших лакеев получают ежемесячные добавки к жалованью из тайной кассы министра полиции за надежные сообщения обо всех дворцовых разговорах; днем и ночью, за

столом и в постели, Наполеон находится под наблюдением своего слишком ревностного слуги. Невозможно скрыть от него ни одной тайны, и таким образом император вынужден доверяться ему, хочется ли ему этого, или нет. Вот это-то знание всего и обо всем создает Фуше ту власть над людьми, которая так поражала Бальзака.

С тем же старанием, с каким Фуше следит за всеми делами, планами, мыслями и словами императора, он старается скрыть от него свои собственные. Фуше не доверяет никогда ни императору, ни вообще кому бы то ни было своих действительных намерений и работ; из своего колоссального материала он показывает лишь те сведения, которые ему хочется показать. Все остальное находится под замком в ящике письменного стола министра полиции. В эту последнюю цитадель Фуше не разрешает никому заглядывать: его единственная страсть, его высокое наслаждение — оставаться неразгаданным, непроницаемым, непонятым, э качество, которым никто не обладал в такой мере, как он. Поэтому совершенно напрасно приставляет к нему Наполеон нескольких шпионов, — Фуше дурачит их или даже пользуется ими, чтобы передать через них обманутому патрону совершенно лживые, неправдоподобные сведения. С годами эта игра в шпионаж и контршпионаж становится все более коварной и полной ненависти, а их отношения совершенно откровенно неискренними. Нет, действительно атмосфера чрезвычайно сгущена вокруг этих двух людей, из которых один имеет слишком много желания быть господином, а другой слишком мало желания быть слугой. Чем сильнее становится Наполеон, тем более тягостным становится для него Фуше. Чем сильнее становится Фуше, тем более ненавистен становится ему Наполеон.

Фоном этому частному соперничеству двух различных духовных организаций служит постоянно возрастающее общее напряженное состояние эпохи. С каждым годом все яснее обнаруживается внутри Франции существование двух противоположных стремлений: страна желает, наконец, мира, а Наполеон — все новых и новых войн. В 1800 году Бонапарт, получивший в наследство революцию и упорядочивший ее, составлял еще одно целое со своей страной, со своим народом и своими министрами;

Наполеон 1804 года, император нового десятилетия, уже не думает более о своей стране, о своем народе, а единственно только о Европе, о мире, о бессмертии. После того как он мастерски разрешил порученную ему задачу, он ставит себе, благодаря избытку сил, новые, все более трудные задачи, и тот, кто превратил хаос в порядок, разрушает свое собственное дело, ввергая порядок обратно в хаос. Мы этим вовсе не хотим сказать, что его светлый, как алмаз, и острый, как алмаз, разум потускнел. отнюдь нет: интеллект Наполеона, при всем своем демонизме математически точный и ясный, остается нетронутым до последней секунды, когда умирающий пишет дрожащей рукой свое завещание, высшее из своих произведений. Но этот разум уже давно утратил сознание обычной меры, да иначе и не могло быть после того, как невероятное исполнилось в такой степени! После таких неслыханных вытрезшей, вопреки всем правилам всемирной игры, как могло не возникнуть желание в душе, приученной к столь непомерным ставкам, превзойти невероятное еще более невероятным! Наполеон так же мало душевно расстроен, даже во время своих самых безумных приключений, как Александр, Карл Двенадцатый или Кортес. Он только так же, как и они, при своих неслыханных победах утратил реальную меру возможного; это безумие при совершенно ясном разуме представляет величественное природное явление духа, столь же прекрасное, как мистральная буря при ясном небе. Оно-то и произвело те деяния, которые представляют собой одновременно преступление единичного человека перед сотнями тысяч и в то же время — легендарное обогащение человечества. Поход Александра из Греции до Индии, представляющийся еще и сейчас сказочным, когда следишь за ним, проводя пальцем по карте, поход Кортеса, марш Карла Двенадцатого из Стокгольма до Полтавы, караван в шестьсот тысяч человек, который Наполеон тащит от Испании до Москвы, все эти великие проявления мужества и в то же время высокомерия представляют в новой истории то же, что битва Прометея и титанов с богами в греческой мифологии: это — уродство и геройство, но во всяком случае это — почти кощунственный максимум всех достижений на земле. И Наполеон неудержимо стремится

к этому крайнему пределу, как только он чувствует у себя на челе императорскую корону. Вместе с успехами растут его цели, с победами его дерзость, с торжеством над судьбой желание бросать ей все более и более дерзкие вызовы. Поэтому вполне естественно, что окружающие его, поскольку они не оглушены фанфарами бюллетеней о победах и не ослеплены успехами, такие умные и рассудительные люди, как Талейран и Фуше, приходят в ужас. Они думают о своей эпохе, о настоящем, о Франции, а Наполеон — единственно о будущем, о легенде, об истории.

Этот контраст между разумом и страстью, между логическим и демоническим характерами, вечно повторяющийся в истории, ясно выступает во Франции при наступлении нового столетия, как фон за фигурами действующих лиц. Война возвеличила Наполеона, вознесла его из ничтожества на императорский трон. Естественно, что он постоянно стремится к войне и ищет все больших, все сильнейших соперников. Даже только численно его ставки растут совершенно фантастично. При Маренго в 1800 году он победил с 30.000 человек, пять лет спустя выставляет он уже 300.000 человек, а еще через пять лет он вырывает почти миллион бойцов из обескровленной, уставшей от войны страны. Последнему погонщику из его войска, глупейшему крестьянину, можно было доказать, как дважды два четыре, что подобная *Guegtonnie* и *Coingtonnie*¹ (Стендаль ввел это слово) должна привести в конце концов к катастрофе. В разговоре с Меттернихом, за пять лет до московского похода, Фуше пророчески сказал: «Когда он вас разобьет, останутся еще только Россия и Китай». Только один человек не понимает этого или умышленно закрывает глаза: Наполеон. Для того, кто пережил минуты Аустерлица, затем Маренго и Эйлау, — мировую историю, втиснутую в два часа, — для того уже более не представляет интереса и не дает удовлетворения принимать на придворных балах лизоблюдов в мундирах, сидеть в празднично разукрашенном оперном театре, выслушивать скучные речи депутатов, — нет, уж давно чувствует он нервный подъем лишь тогда, когда он пробегает

¹ La guegrie — война, coing — бежать; мания войны и походов.

ускоренными маршами во главе своих войск целые страны, разбивает армии, небрежным движением пальца сдвигает, как фигуры в шахматах, королей с их тронов и ставит на их место других, когда площадь Инвалидов превращается в шумящий лес знамен, а новооснованное военное казначейство наполняется ценной добычей со всей Европы. Он мыслит только полками, корпусами, армиями; он уже давно рассматривает Францию, всю страну, весь мир только как свою ставку, как безраздельно принадлежащую ему собственность: «La France c'est moi».¹ Но некоторые из его близких придерживаются в глубине души того мнения, что Франция принадлежит прежде всего себе самой, что ее люди, ее граждане не могут служить для того, чтобы делать королями корсиканскую родню, а всю Европу обращать в бонапартову вотчину. Со все возрастающим неудовольствием видят они, как из года в год к воротам городов прибывают списки рекрутов, как отрывают из домов восемнадцатилетних, девятнадцатилетних для того, чтобы на границах Португалии или снежных пустынях Польши и России они бессмысленно погибли или погибали за дело, смысл которого нельзя более понять. Таким образом возникает все более ожесточенный контраст между ним, который следит только за своими путеводными звездами, и людьми с ясным взглядом, видящими усталость и нетерпение своей страны. А так как эта властная, автократическая натура не желает выслушивать советов даже от близких, то последние начинают тайно раздумывать над тем, как бы остановить это безумно катящееся колесо и спасти его от неизбежного падения в пропасть. Ибо должна наступить та минута, когда разум и страсть окончательно разойдутся и сделаются открытыми врагами, когда вспыхнет борьба между Наполеоном и умнейшим из его слуг.

Это тайное противодействие безграничной страсти Наполеона к войнам объединяет наконец самых ожесточенных противников среди его советников: Фуше и Талейрана. Эти два наиболее способные министра Наполеона, психологически самые интересные люди эпохи, не любят друг друга, — вероятно, оттого, что они слишком похожи

¹ Франция — это я.

друг на друга. Оба они трезвые, реалистические, ясные умы, дикие и бесстыдные ученики Макиавелли. Оба они прошли через школу церкви и раскаленную высшую школу революции, у обоих одинаково бессовестное хладнокровие в денежных вопросах и в вопросах чести, оба они служили одинаково неверно и с одинаковой беззастенчивостью республике, директории, консульству, империи и королю. Беспреданно встречаются на одной и той же сцене всемирной истории эти два актера на характерные роли неустойчивых людей, одетые в костюмы революционеров, сенаторов, министров, королевских слуг, и именно оттого, что они люди одной и той же духовной расы и исполняют одинаковые дипломатические роли, они ненавидят друг друга с холодностью знатоков и крепкой злобой соперников.

Они принадлежат к одному и тому же безнравственному типу, но как их сходство вытекает из их характеров, так их различие обуславливается их происхождением. В то время как Талейран, герцог Перигорский, архиепископ Отенский (Autun), природный, кровный аристократ и князь, уже носит, как духовный владыка целой французской провинции, фиолетовую мантию, маленький невзрачный купеческий сын Жозеф Фуше — еще только презренный ничтожный священник, преподающий дюжине монастырских учеников за несколько су в месяц математику и латынь. Один уже уполномоченный по делам Французской Республики в Лондоне и знаменитый оратор Генеральных Штатов, в то время как другой еще только упорно выживает в клубах, при помощи лести, свой мандат. Талейран сходит в Революцию сверху вниз, он выходит, как господин из своей кареты, почтительно приветствуемый восклицаниями, спускаясь на несколько ступенек к третьему сословию, в то время как Фуше с трудом добирается до него при помощи интриг. Вследствие этого различия их происхождения одинаковые, основные свойства приобретают различную окраску. Талейран, человек с тонкими манерами, служит с холодной и равнодушной снисходительностью большого барина, Фуше — с ревностным старанием хитрого и честолюбивого чиновника. Там, где они сходны друг с другом, они в то же время и различны. Если они оба любят деньги, то Талейран любит их

по-дворянски швырять за карточным столом или растрачивать с женщинами, меж тем как Фуше, купеческий сын, любит превращать деньги в капитал, получать барыши и бережливо накапливать. Для Талейрана власть есть средство к наслаждению, она представляет ему лучшую и благороднейшую возможность пользоваться всеми материальными благами мира — роскошью, женщинами, искусством, тонким столом, между тем как Фуше, будучи многократным миллионером, остается спартанцем и скрягой. Оба они никогда не могут окончательно стряхнуть с себя отпечатка своего социального происхождения: никогда, даже в дни самого разнузданного террора, Талейран, герцог Перигорский, не может стать истинным сыном народа и республиканцем; никогда Жозеф Фуше, новоиспеченный герцог Отрантский, несмотря на сверкающий золотом мундир, не может стать истинным аристократом.

Из них более ослепительным, болес очаровательным, может быть и более значительным является Талейран. Воспитанный на изящной, древней культуре, пропитанный духом восемнадцатого века, он любит дипломатическую игру как одно из многих умственных наслаждений, но ненавидит работу. Он неохотно пишет собственноручно письмо; как истый сластолюбец, утонченный сибарит, он поручает всю черную работу другому, чтобы потом небрежно забрать своей узкой, покрытой перстнями рукой добытые результаты. Ему достаточно его интуиции, которая молниеносно проникает в сущность самой запутанной ситуации. Прирожденный и вышколенный психолог, он, по словам Наполеона, проникает не задумываясь в мысли другого и уясняет каждому то, к чему тот внутренне стремится. Смелые обороты, быстрое понимание, ловкие повороты в опасные минуты — вот его призвание: презрительно отворачивается он от деталей, от кропотливой, пахнувшей потом работы. Из этого пристрастия к минимуму, к самому концентрированному виду умственных решений вытекает его ослепительная способность к каламбуру, к афоризмам. Он никогда не пишет длинных донесений, одним единственным остроотточенным словом характеризует он ситуацию, человека. У Фуше, наоборот, совершенно отсутствует эта способность быстрого понимания; как пчела, собирает он бесчисленные мелкие чер-

точки, сотни тысяч наблюдений, по-деловому разбирая все за и против, затем составляет, добросовестно комбинирует и приходит к неопровержимым выводам. У него метод аналитический, у Талейрана метод визионера, его сила — трудолюбие, сила Талейрана — быстрота ума. Ни одному художнику не придумать более разительных прогнуположностей, чем это сделала история, поставив эти две фигуры, ленивого и гениального импровизатора Талейрана и тысячеглазого бдительного калькулятора Фуше, рядом с совершенным гением, в котором соединились дарования обоих, дальнзоркость одного и кропотливый анализ другого, страсть и трудолюбие, знание и ясно-видение.

Но нигде не бывает такой ожесточенной ненависти, как среди различных видов одной и той же породы. Из внутреннего инстинкта, из глубокого кровного понимания происходит их презрение друг к другу. С первого же дня большому барину противен этот трудолюбивый, мелочный работник, собиратель доносов, сплетен, холодный согладатай Фуше, а Фуше, с другой стороны, раздражает легкомыслие, мотовство, презрительно-дворянская и женственно-ленивая небрежность Талейрана. Их отзывы друг о друге полны яда. Талейран говорит с улыбкой: «Фуше оттого так сильно презирает людей, что он слишком хорошо знает самого себя». Фуше, со своей стороны, шутит, когда Талейрана назначают вице-канцлером: «Il ne lui manquait que ce vice-là!»¹ Если возможно, они очень охотно причиняют друг другу неприятности, а где представляется возможность повредить, там они хватаются за малейший к этому повод. То, что они, один быстрый, другой трудолюбивый, так хорошо дополняют друг друга, это обстоятельство делает их подходящими министрами для Наполеона, а то, что они так бешено ненавидят друг друга, это ему также очень кстати, потому что они лучше следят друг за другом, чем сотня бдительных шпионов. Фуше старательно доносит ему о каждом новом проявлении подкупности, распушенности и небрежности Талейрана, который, в свою очередь, спешит донести о всех проделках

¹ Ему недоставало только этого порока. Игра слов: vice — вице, vice — порок.

и новых интригах Фуше. Эта странная пара одновременно обслуживает и охраняет Наполеона. Превосходный психолог, Наполеон пользуется самым лучшим образом соперничеством своих министров, поощряя и в то же время сдерживая их.

Весь Париж долгие годы забавляется этой упорной враждой двух соперников. Он следит за бесконечными вариантами этой комедии у ступеней трона, будто за сценами из Мольера, и наслаждается тем, как эти двое слуг владыки насмежаются друг над другом, преследуют один другого колкими словечками, между тем как их господин с олимпийским величием прислушивается к этим выгодным ему спорам. Но вот вместо веселой игры в кошку и собаку, которой от них не ожидают, эти оба утонченные артиста вдруг меняют свои роли и берутся за серьезную игру. Впервые общее для них обоих раздражение против господина берет верх над их соперничеством. Наступает 1808 год, и Наполеон опять начинает войну, самую бесполезную, бессмысленную из своих войн, поход против Испании. В 1805 году он победил Австрию и Россию, в 1807 году разгромил Пруссию, подчинил себе немецкие и итальянские государства, но для вражды с Испанией нет ни малейшего повода. Его недалекий брат Жозеф (через несколько лет Наполеон сам признает, что «принес себя в жертву дуракам») тоже желает получить корону, и в виду того, что не имеется свободной, решают, с нарушением международного права, просто отнять ее у испанской династии. Снова бьют барабаны, маршируют батальоны, снова плывут из касс с трудом собранные деньги, и снова опыняется Наполеон опасной страстью к победам. Эта необузданная военная ярость мало-по-малу представляется слишком безумной даже самым толстокожим; как Фуше, так и Талейран не одобряют ни с того, ни с сего свалившуюся войну, от которой Франция будет в течение семи лет истекать кровью, а так как император не слушает ни того, ни другого, то оба незаметно сближаются. Они знают, что император швыряет с раздражением в угол их письма, их донесения; они уже давно не могут справиться с генералами, маршалами, военщиной и в особенности с корсиканской родней, каждый член которой желал бы скрыть свое жалкое прошлое под мантией

из горностая. Они пытаются заявить протест перед общественным мнением, но, не имея возможности выразить его словами, затевают политическую пантомиму, настоящий театральный трюк: они демонстративно делаются союзниками.

Кому принадлежала эта превосходная театральная инсценировка, Талейрану или Фуше, неизвестно. Дело происходило таким образом: пока Наполеон воюет в Испании, в Париже непрерывные празднества и веселье, — к ежегодным войнам так привыкли, как к снегу зимой или к грозам летом; на улице Сен-Флорентен, в доме канцлера, в один декабрьский вечер 1808 г. (в то время когда Наполеон в какой-нибудь грязной квартире, в Валладолиде, пишет приказы по армии) горят сотни свечей и гремит музыка. Красивые женщины, которых Талейран так любит, блестящее общество, высшие государственные чины и иностранные послы собрались здесь. Все весело болтают, танцуют и забавляются. Внезапно раздается легкий шопот во всех углах, танец прерывается, гости изумленно толпятся: вошел человек, которого здесь никто не мог ожидать, — Фуше, тощий Кассио, которого, как всем было известно, Талейран ожесточенно презирал и ненавидел и нога которого еще никогда не была в этом доме. Но, о чудо, министр иностранных дел с изысканной вежливостью идет навстречу министру полиции, приветствует его, как своего дорогого гостя и друга, дружелюбно берет его под руку. На виду у всех, совершенно открыто ухаживая за ним, ведет он его через весь зал в соседнюю комнату; там они садятся в шезлонг и тихим голосом беседуют, вызывая безграничное любопытство у всех присутствующих. На следующее утро всему Парижу известна эта крупная сенсация. Повсюду только и говорят об этом внезапном и так открыто афишированном примирении, и каждый понимает смысл его. Когда между кошкой и собакой такая пламенная дружба, то повару надо опасаться: дружба между Фуше и Талейраном означает открытое неодобрение министрами своего господина, Наполеона. Тотчас забегали все шпионы, чтобы узнать, что означает этот разговор. Во всех посольствах скрипят перья, составляются немедленные донесения, Меттерних сообщает спешной почтой в Вену: «Этот союз соответствует желаниям крайне

утомленной нации», но и братья и сестры императора тоже бьют тревогу и посылают со своей стороны курьеров с сумасшедшей новостью к императору.

Нарочный мчится с вестью в Испанию, но еще быстрее, насколько это возможно, несетя Наполеон, словно подгоняемый ударами бича, назад в Париж. Получив известие, он удаляется в свою комнату, не приглашая никого из приближенных. Кусая губы, он немедленно делает распоряжения о возвращении; сближение Талейрана и Фуше действует на него сильнее, чем потеря сражения. Обратная поездка совершается с безумной быстротой: 17 он выезжает из Валладолида, 18 он в Бургосе, 19 в Байонне, нигде не делается остановок, повсюду поспешно меняют загнанных усталых лошадей, 22 врывается он, как вихрь, в Тюильри, а 23 отвечает на остроумную комедию Талейрана столь же драматической сценой. Вся расшитая золотом толпа придворных, министры и генералы старательно расставлены в качестве статистов: общество должно знать, что император сокрушает силой малейшее сопротивление его воле. Еще накануне он вызывает к себе Фуше и с глазу на глаз задает ему головомойку, которую тот, привыкший к подобным душам, спокойно выдерживает, приводя искусные и лживые оправдания и во-время производя поклоны. Этому раболепному человеку, думал император, достаточно дать мимоходом несколько пинков, но Талейран, как более сильный и могущественный, должен быть публично наказан. Эту сцену часто описывали, и, действительно, это одна из наиболее драматических сцен в истории. Сперва император высказывается в общих чертах неодобрительно о коварстве нескольких лиц во время его отсутствия, но затем, раздраженный равнодушием Талейрана, обращается прямо к нему, стоящему неподвижно, в небрежной позе, у мраморного камина, опершись рукой о косяк. И вот, вместо задуманного сначала комического урока в присутствии целого двора, император вдруг приходит в настоящее бешенство, кричит на старшего, опытного человека, бросая ему в лицо самые низкие ругательства; он называет его вором, клятвопреступником, изменником, продажным человеком, способным за деньги продать собственного отца, обвиняет его в убийстве герцога Энгиенского, называет зачинщиком испанской

войны. Ни одна прачка не станет так безудержно осыпать ругательствами во дворе свою соседку, как осыпает Наполеон герцога Перигорского, ветерана революции, первого дипломата Франции.

Слушатели окаменели. Всем неловко, каждый чувствует, что император ведет себя неправильно. Только Талейран, столь равнодушный и нечувствительный к оскорблениям (рассказывают, будто он однажды заснул во время чтения направленного против него памфлета), стоит с высокомерным видом, не меняясь в лице, не считая оскорблением подобную брань. По окончании бури он, прихрамывая, молча проходит по гладкому паркету, направляясь в переднюю, и там бросает одно из своих ядовитых словечек, которые поражают сильнее, чем грубые удары кулаком: «Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан», говорит он спокойно, в то время как лакей набрасывает на него плащ.

В тот же вечер Талейран лишается звания камергера; все недоброжелатели с любопытством просматривают в следующие дни «Moniteur», чтобы найти среди государственных сообщений известие об отставке Фуше. Но они ошибаются. Фуше остается. Как всегда, он спрятался во время опасности за спину более сильного, который служит ему громоотводом. Колло, его товарищ по лионским расстрелам, отправлен в ссылку на лихорадочный остров, а Фуше остался; Бабёф, его сообщник по борьбе против Директории, расстрелян, а Фуше остался. Его покровитель Баррас должен был бежать, а Фуше остался. И на этот раз падает только впереди стоящий, Талейран, а Фуше остается. Правительства, государственные формы, мнения, люди — все меняется, все рушится, все исчезает в этом бешеном водовороте, при смене одного столетия другим; на своем месте, при всех переменах лиц и настроений, остается только один: Жозеф Фуше.

Фуше остается у власти, даже больше: именно то обстоятельство, что самый умный, ловкий и независимый советник Наполеона получил шелковый шнурок¹ и одним росчерком пера был смещен, именно это усиливает влия-

¹ Китайский обычай посылать отставленным любимцам шелковый шнурок для того, чтобы они удавились. *Прим. перев.*

ние Фуше. Но, что еще важнее, — кроме соперника Талейрана удаляется на некоторое время и сам тяжелый властелин. Наступает 1809 год, и Наполеон начинает, как ежегодно, новую войну, на этот раз против Австрии. Лучше всего чувствует себя Фуше в те периоды, когда Наполеон уезжает из Парижа и удаляется от дел. И чем дальше, тем лучше, чем на более длительный срок, тем приятнее, — в Австрию, Испанию, Польшу; всего лучше было бы, если бы он уехал опять в Египет. Излучаемый им слишком сильный свет бросает на все кругом тень; его творчески-деятельная личность возвышается над всеми и парализует своим властным превосходством волю каждого. Когда же он находится вдали за сотни миль, командует битвами, составляет планы походов, Фуше может время от времени сам разыгрывать роль всемогущего владыки, а не быть только марионеткой в этой жесткой, энергичной руке.

Наконец представляется для Фуше эта возможность, — наконец и впервые! — 1809 год был роковым для Наполеона. Никогда еще, не взирая на очевидные внешние успехи, его военное положение не подвергалось подобной опасности. В сокрушенной Пруссии, в недостаточно укрошенной Германии находятся в некоторых гарнизонах почти беззащитные десятки тысяч французов, являющихся сторожами сотен тысяч немцев, ждущих только сигнала, чтобы взяться за оружие. В случае второй победы австрийцев, подобной победе при Асперне, от Эльбы до Роны вспыхнет возмущение, восстание целого народа. И в Италии дела обстоят не лучше: грубое оскорбление папы задело всю Италию так же точно, как унижение Пруссии всю Германию, к тому же сама Франция утомлена. Еще один удар по императорской армии, растянувшейся по всей Европе, от Эбро до Вислы, и — кто знает? — может быть он и сокрушит сильно пошатнувшегося железного колосса. Заклятые враги Наполеона, англичане уже обдумывают этот удар: Пока войска императора разделены, находясь частью у Асперна, частью у Рима и частью у Лиссабона, англичане намерены вторгнуться прямо в сердце Франции, овладев сперва гаванью Дюнкирхена, завоевав Антверпен и подняв возмущенье в Бельгии. Они рассчитывают, что Наполеон далеко со своими закаленными

в боях армиями, со своими маршалами и пушками; перед ними лежит беззащитная страна.

Но Фуше на месте; тот самый Фуше, который в 1793 году при Конвенте научился, как можно собрать в несколько недель десять тысяч рекрутов. Его энергия с тех пор не уменьшилась; она только истощалась в мелких происках и кознях. Страстно берется он за это дело, чтобы показать нации и целому миру, что Фуше не только марионетка в руках Наполеона, а может, в случае необходимости, действовать так же решительно и целесообразно, как сам император. Наконец, настал чудесный случай — прямо точно с неба свалившийся! — доказать раз навсегда, что не вся моральная и военная сила сосредоточена в руках этого одного человека. С вызывающей смелостью подчеркивает он в своих прокламациях эту ненужность Наполеона. «Докажем Европе, что хотя гений Наполеона сообщает блеск Франции, нет необходимости в его присутствии, чтобы отогнать врага», пишет он бургомистрам и подтверждает эти смелые, властные слова на деле. Как только 31 августа получил он известие о высадке англичан на острове Вальхерен,¹ он требует в качестве министра полиции и министра внутренних дел (пост которого он временно занимает) созыва национальных гвардейцев, которые со времени революции мирно проживали в своих деревнях, как портные, слесаря, сапожники и хлебопашцы. Другие министры в ужасе. Возможно ли, без разрешения императора, взять на собственную ответственность такое важное мероприятие? В особенности военный министр, возмущенный тем, что штатский, без всякого права, вторгается в его священную область, противится всеми силами, утверждая, что нужно сперва в Шенбрунне испросить разрешение на мобилизацию. Нужно выждать приказаний императора, прежде чем сеять тревогу в стране. Но император, как обычно, находится на расстоянии четырнадцати дней почтовой езды туда и обратно, и Фуше не опасается тревоги в стране. Разве Наполеон не делает того же самого? В глубине души он хочет вызвать беспокойство, возмущение и поэтому решительно берет все на собственную ответственность. С барабанным боем все жи-

¹ Остров на Северном море, принадлежащий Голландии.

тели угрожаемых провинций именем императора призываются к немедленной защите, — именем императора, который ничего не знает об этих распоряжениях. Затем вторая дерзость: Фуше назначает главнокомандующим этой импровизированной северной армией Бернадота, человека, которого Наполеон, хотя он и приходится шурином его брату, ненавидит более всех генералов, которого он наказал и отправил в ссылку. Фуше возвращает его из ссылки на зло императору, министрам и всем его врагам. Ему все равно, будут ли его меры одобрены императором. Самое важное, чтоб успех оправдал его перед всеми.

Подобная отвага в решительные минуты сообщает Фуше, действительно, некоторое величие. Этот нервный, трудолюбивый человек рвется к большим заданиям, а ему всегда приходится делать пустяки, с которыми он справляется шутя. Вполне естественно, что излишек силы ищет выхода, проявляясь в злых и по большей части в бессмысленных интригах. Но в те минуты, когда этот человек, как в Лионе, а затем после падения Наполеона, в Париже, получает действительно всемирно-историческое задание, соответствующее его силе, он справляется с ним мастерски. Спустя несколько дней город Флиссинген,¹ который сам Наполеон называет в своих письмах неприступным, попадает, как предсказывал Фуше, в руки англичан. Но в то же время сформированная Фуше без разрешения армия имела время укрепить Антверпен, и таким образом это вторжение англичан кончилось полнейшим и очень дорого стоившим поражением. Впервые, с тех пор как Наполеон стоит у кормила правления, осмелился министр самостоятельно поднять знамя войны, распустить паруса и взять собственный курс, и именно эта самостоятельность спасла Францию в роковую минуту. С этого дня Фуше повышается в ранге и в собственном самосознании.

Между тем в Шенбрунн прибыли письма канцлера и военного министра с обвинением против Фуше, жалобы за жалобами посыпались на дерзость этого штатского министра. Он созвал национальную гвардию, перевел страну на военное положение! Все надеются, что Наполеон накажет Фуше за превышение власти и сместит его. Однако,

¹ Город в Голландии.

к удивлению, император еще раньше, чем ему стал известен блестящий успех распоряжений Фуше, обрушивается со всей свойственной ему энергией на других. Канцлер остается с носом. «Я очень раздражен тем, что вы при таких исключительных обстоятельствах так мало использовали свои полномочия; вы должны были при первом известии призвать двадцать, сорок, пятьдесят тысяч национальных гвардейцев», а военному министру он пишет буквально следующее: «Я вижу одного только господина Фуше, который сделал бы все, что мог, который понял опасность позорной бездеятельности». Таким образом неспособные, осторожные и робкие коллеги Фуше были им посрамлены, что подтвердил сам император. Вопреки стараниям Талейрана и канцлера, Фуше стоит на первом месте во Франции. Один он сумел показать, что умеет не только повиноваться, но и повелевать.

И в дальнейшем мы увидим, что Фуше умеет прекрасно действовать в минуту опасности. Поставьте его перед труднейшей ситуацией, он сумеет ею овладеть, благодаря смелой находчивости и энергии. Дайте ему самый запутанный узел, он его распутает. Но как ни великолепно умеет он ухватиться за дело, ему недоступно другое, родственное искусство, наивысшее политическое искусство: своевременно отойти. Если он куда запустил руку, он ее уж более не вытащит. И едва ему удастся распутать какой-нибудь узел, какая-то дьявольская страсть к игре толкает его вновь запутать его. Так случилось и на этот раз. Благодаря его быстроте, умению поспешно собрать силы и отразить удар, коварное фланговое нападение отбито. Понеся страшные потери людьми и припасами и еще больший ущерб для своего престижа, англичане погрузили вновь на суда свои войска и уехали. Теперь можно спокойно вздохнуть, а национальных гвардейцев с благодарностью распустить по домам, наградив их Почетным Легионом. Но честолюбие Фуше еще не удовлетворено. Так прекрасно было разыгрывать императора, поставить на ноги три провинции, отдавать приказы, составлять воззвания, держать речи, позорить своих бесхарактерных коллег. И все это должно теперь окончиться? И именно теперь, когда, в упоении своей силой, он чувствует ее ежедневно, ежечасно? Нет, Фуше этого не сделает. Нужно продол-

жать итрать в нападение и защиту, даже если бы пришлось для этого выдумать врага. Только бы продолжать бить в барабаны, возбуждать население, создавать тревогу, бурное движение. И вот он отдает приказ о новой мобилизации в виду мнимо предполагаемой высадки англичан в Марселе. Созывается, ко всеобщему изумлению, национальная гвардия во всем Пьемонте, Провансе, даже Париже, хотя нигде — ни внутри страны, ни на побережьях—не видно ни одного врага, и совершается это единственно оттого, что Фуше охвачен давно неиспытанной страстью к организации и мобилизации, оттого, что долго сдерживаемая, долго подавляемая страсть к действию может, наконец, благодаря отсутствию императора, проявить себя.

Но против кого же все эти армии? — спрашивает себя, все более удивляясь, вся страна. Англичане не показываются. Постепенно недоверие охватывает даже самых доброжелательных из его коллег: чего собственно добивается своими неистовыми мобилизациями этот непроницаемый человек? Они не понимают того, что у Фуше бурно играют страсти, требующие проявления его сил. А так как не видят кругом ни одного вражеского штыка, ни одного неприятеля, против которого с каждым днем все более и более вооружается это огромное ополчение, то они невольно начинают подозревать у Фуше высоко залетающие планы. Одни думают, что он подготавливает восстание, другие, что он желает восстановить старую республику и ждет случая, пока император потерпит снова такое же поражение, как при Асперне, или когда покушение нового Фридриха Штапса¹ будет более удачным. И вот донесение за донесением летит в главную квартиру в Шенбрунне о том, что Фуше сошел с ума или замышляет заговор. На этот раз Наполеон, при всем своем доброжелательстве, озадачен. Он видит, что Фуше зарвался, его нужно осадить; он делает это в своих письмах, очень резких. Он обрушивается на него, называет его «Дон Кихотом, который сражается с ветряными мельницами», и пишет своим прежним суровым тоном: «Во всех получаемых

¹ Фридрих Штапс, 17-летний юноша, пытался в 1809 г. в Шенбрунне произвести покушение на Наполеона и был расстрелян.

мною известиях говорится о национальной гвардии, созываемой в Пьемонте, Лангедоке, Провансе, Дофине. На кой чорт это делается, безо всякой надобности, помимо приказа с моей стороны!» Фуше, с сокрушенным сердцем, должен перестать разыгрывать господина, уйти из министерства внутренних дел, снова стать только министром полиции своего увенчанного славой, увы, слишком рано возвращающегося повелителя:

«Был ты веник грязный,
Им снова стань!»¹

Во всяком случае, хотя он и пересолил, Фуше был единственным, который среди всеобщего смятения, в весьма критический момент, выступил своевременно и разумно для спасения отечества. И Наполеон не может отказать ему в почести, которую он оказал уже столь многим. Теперь, когда на французской почве, обильно удобренной кровью, выросло новое дворянство, когда были облаго-рожены имена всех генералов, министров и носильщиков, настала очередь и для Фуше, старого врага аристократии, самому вступить в ее ряды. Графский титул был ему втихомолку обещан уже раньше. Но старый якобинец подымет еще выше по этой воздушной лестнице рангов: 15 августа 1809 года во дворце его апостольского величества императора австрийского, в парадном зале Шенбрунна, бывший маленький корсиканский лейтенант ставит свою подпись и печать на ослиной коже, каковым пергаментом бывшему коммунисту и беглому монастырскому учителю Жозефу Фуше отныне всемилостивейше присваивается титул — внимание! — герцога Отрантского. Он, правда, никогда не сражался у Отранто, вообще не видел никогда этого южно-итальянского города, но такое звучное, чужестранное дворянское имя чрезвычайно удобно, чтобы замаскировать бывшего архиревolucionонера, и, если произнести его должным образом, можно забыть, что за этим герцогом скрывается палач Лиона, старый Фуше времен распределения хлеба и конфискации имущества. Для того чтобы он чувствовал себя вполне рыцарем, ему жалуются еще знак его достоинства: новый блестящий герб.

¹ Гёте «Ученик чародея», пер. Холодковского. *Прим. перев.*

Одно только странно: сам ли Наполеон имел в виду этот едкий, характерный намек, или это была собственная психологическая шуточка чиновника-геральдика? Во всяком случае, в центре герба герцога Отрантского изображена золотая колонна — очень подходящий символ для этого страстного любителя золота. Вокруг колонны обвивается змея, по всей вероятности также легкое указание на дипломатическую изворотливость нового герцога. Надо думать, что у Наполеона имелись на службе ученые геральдики, потому что трудно придумать для Жозефа Фуше более характерный герб.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
БОРЬБА С ИМПЕРАТОРОМ

1810

Великий пример всегда либо развращает, либо возвышает целое поколение. Когда является человек, подобный Наполеону Бонапарту, людям, находящимся в его окружении, предоставляется выбор: ступешаться и дать себя затмить его величием или, следуя его примеру, прячь свои силы до крайних пределов. Люди, связанные с Наполеоном, неминуемо должны стать его рабами или его соперниками: такой великий современник не терпит рядом с собой никакой посредственности.

Фуше был одним из тех, кого Наполеон вывел из равновесия. Он отравил ему душу опасным примером ненасытности, демонической воли к постоянному возвышению: Фуше тоже, подобно своему господину, вечно стремится расширить границы могущества, он тоже не способен к мирному существованию, к уютному довольству. Великое разочарование приносит ему дни, когда Наполеон возвращается триумфатором из Шенбрунна и берет в свои руки бразды правления! Чудесно было время, когда по собственному усмотрению он мог распоряжаться, набирать армию, выпускать прокламации и не считаясь с нерешительными коллегами, принимать смелые решения, властвовать над целой страной, играть за большим столом мировой судьбы! А теперь Жозеф Фуше должен снова вернуться к исполнению обязанностей министра полиции, должен следить за недовольными, за газетными болтунами, составлять ежедневные скучные бюллетени

из шпионских донесений, интересоваться пустяками — выяснять, например, с какой женщиной вступил в связь Талейран или кто был вчера виновником падения курса ренты на бирже. Нет, после того как он прикоснулся к мировым событиям, подержал в руке руль большой политики, все это стало для его мятежного, жаждущего волнений ума мелочью, презренным бумагомараньем. Кто вел большую игру, тот не сможет удовлетвориться такими пустяками. Надо показать, что и в соседстве с Наполеоном можно совершать подвиги, — вот мысль, которая навсегда лишает его покоя.

Но чего, казалось бы, можно достигнуть рядом с тем, кто достиг всего, — кто победил Россию, Германию, Австрию, Испанию и Италию, кому император из старейшей династии Европы дает в супруги эрцгерцогиню, кто низвергнул папу и тысячелетиями непоколебленную власть Рима, кто, сделав Париж центром, создал европейское мировое государство? Нервно, лихорадочно, ревниво озирается честолюбие Фуше в поисках за достойной задачей, и действительно: недостает еще одного камня, чтобы закончить здание мирового государства: недостает мира с Англией. И этот последний европейский подвиг хочет совершить Жозеф Фуше один, без Наполеона и против Наполеона.

Англия — в 1809 году, как и в 1795, — самый лютый враг, опаснейший противник Франции. Перед воротами Аккона, перед укреплениями Лиссабона, во всех концах мира воля Наполеона наталкивалась на спокойную, обдуманную, методическую силу англосаксов, и пока Наполеон завоевал всю европейскую сушу, англичане захватили другую половину мира — моря. Они не могут поймать друг друга, — двадцать лет они трудятся, возобновляя время от времени свои старания, чтобы уничтожить друг друга. И тот и другие потеряли в этой бессмысленной борьбе много сил, и тот и другие, не признаваясь в этом, немного устали. Банки во Франции, Антверпене и Гамбурге прекратили платежи с тех пор, как англичане начали душить их торговлю; и на Темзе, в свою очередь, скопляются корабли с непроданным товаром, — все больше падают английские и французские ценности, и в обеих странах коммерсанты, банкиры и умные дельцы

побуждают правительство притти к соглашению и робко вступают в предварительные переговоры. Но Наполеону кажется более важным, чтобы его глупый брат Жозеф сохранил корону Испании, а сестра Каролина — Неаполь; он прерывает с трудом завязанные мирные переговоры о Голландии и направляет свой железный кулак на союзников, чтобы заставить их закрыть вход в гавани английским кораблям, бросить английские товары в море; и вот уже отправляются в Россию грозные письма с требованием подчинения континентальной системе. Снова страсть берет верх над разумом, и война грозит затянуться, если в последний час у партии мира не хватит мужества выступить энергично.

В этих преждевременно прерванных переговорах с Англией принял участие и Фуше. Он нашел для императора и голландского короля посредника, — французского финансиста. Этот финансист устроил назначение голландского, а последний, со своей стороны, английского посредника; по испытанному золотому мосту от правительства к правительству переходили — как во время каждой войны и во все эпохи — тайные попытки соглашения. Но теперь император резко приказал прекратить переговоры. Фуше этим недоволен. Зачем прекращать их? Вести переговоры, торговаться, обещать, обманывать — его главная страсть. И Фуше составляет смелый план. Он решает на свой риск продолжать переговоры, — как бы по поручению императора, — оставляя своих агентов и английское министерство в убеждении, что через их посредство о мире хлопочет император, в действительности же пружину приводит в действие герцог Отрантский. Это — сумасшедшая затея, дерзкое злоупотребление именем императора и собственным положением, беспримерная в истории наглость. Но такие секреты, такая двусмысленная и запутанная игра, мистификация не одного, а одновременно двоих или троих — это истинная страсть прирожденного, неисправимого интригана. Подобно школьнику, высовывающему язык за спиной учителя, он проказничает за плечами императора, и, как смелый мальчуган, он рискует возможностью наказания или выговора лишь ради удовольствия, доставляемого дерзостью или капризом. Сотни раз, как мы видели, он забавлялся такими политическими

прыжками, но никогда он не позволял себе такого смелого, такого своевольного, такого опасного поступка. Как переговоры, которые он ведет с английским министерством иностранных дел о мире между Францией и Англией, против воли императора, но под прикрытием его имени.

Затея гениально подготовлена. Он привлек для осуществления ее одного из своих темных дельцов, банкира Уврара, уже несколько раз рисковавшего попасть в тюрьму. Наполеон презирает этого неприятного человека за его скверную репутацию, но это мало трогает Фуше, работающего с ним на бирже. В этом человеке он уверен, ибо неоднократно вытаскивал его из болота и крепко держит его в руках. Он посылает Уврара к влиятельному голландскому банкиру де Лабушер, который обращается к своему тестю, банкиру Берингу в Лондоне, а этот последний сводит Уврара с английским кабинетом. И вот начинается бешеная карусель: Уврар, разумеется, полагает, что Фуше действует по поручению императора и официально передает свое поручение голландскому правительству. Это представляется англичанам достаточным основанием, чтобы всерьез отнестись к переговорам. Англия, полагая, что ведет переговоры с Наполеоном, переговоривается с Фуше, который, разумеется, тщательно скрывает от императора ход совещаний. Он хочет дать созреть делу, сгладить трудности, чтобы внезапно, как *deus ex machina*, предстать перед императором и французским народом и гордо сказать: «Вот мир с Англией! То, к чему вы стремились, что не удалось ни одному из ваших дипломатов, сделал я, герцог Отрантский».

Какая досада! Маленькая глупая случайность прерывает эту великолепную волнующую партию в шахматы. Наполеон отправляется со своей молодой женой Марией-Луизой в Голландию навестить своего брата, короля Людовика. Шумный прием заставил его забыть о политике. Но однажды, в случайном разговоре, Людовик, не сомневаясь, как и все, что тайные переговоры ведутся с согласия императора, справляется об их успешности. Наполеон насторожился. Он сейчас же вспомнил, что встретил в Антверпене этого ненавистного Уврара. Что тут происходит? Что значит это общение между Англией и Голландией? Но он не выдает своего удивления: мимоходом про-

сит он брата показать при случае переписку голландского банкира. Тот сейчас же исполняет просьбу императора, и на обратном пути из Голландии в Париж Наполеон находит время ее прочесть: и действительно — это переговоры, о которых он не имел никакого представления. Приходя в ярость, он быстро разгадывает браконьерскую проделку герцога Отрантского, опять охотящегося на чужой земле. Но, усвоив сам хитрые приемы этого хитреца, он скрывает свое подозрение за сдержанной вежливостью, чтобы не возбудить подозрения у ловкого противника и не дать ему улизнуть. Только командиру своей жандармерии, Савари, герцогу Ровиго, он сообщает обо всем и приказывает быстро и незаметно арестовать банкира Уврара и завладеть его бумагами.

Только тогда, 2 июня, через три часа после этого приказания, он вызывает своих министров в Сен-Клу; грубо и без обиняков он обращается к герцогу Отрантскому с вопросом, знает ли он что-нибудь о поездках Уврара и не сам ли он послал Уврара в Амстердам. Фуше удивлен, но еще не подозревает, в какую западню он попал; он действует как всегда, когда его в чем-нибудь уличают; так же, как во время революции в деле с Шометом и в эпоху директории с Бабёфом, он старается отделаться, просто-напросто отрекаясь от своего сообщника. О, Уввар, поясняет он, это навязчивый человек, готовый вмешиваться во все дела, это дело к тому же не имеет никакого значения, это просто забава, ребячество. Но у Наполеона крепкая хватка, и отделаться от него не так легко. «Нет, это не пустые затеи, — бросает в ответ Наполеон. — Это неслыханное превышение власти — вести за спиной своего государя переговоры с врагами, на условиях, которые ему неизвестны и на которые он вряд ли когда-нибудь согласится. Это нарушение долга, которого не может допустить даже самое снисходительное правительство. Необходимо немедленно арестовать Уврара». Фуше стало не по себе. Этого только не хватало, арестовать Уврара! Он может выдать! Фуше всевозможными увертками старается заставить императора отказаться от этой меры. Но император, зная, что его личная охрана уже позаботилась об аресте Уврара, с насмешкой выслушивает разоблаченного министра. Он теперь знает настоящего зачинщика этой

отважной затей, и отнятые у Уврара бумаги быстро разоблачают затеянную Фуше игру.

И вот сверкнула молния из постепенно сгущавшихся туч недоверия. На следующий день, в воскресенье, Наполеон после обедни (он, несколько лет тому назад арестовавший папу, теперь в качестве зятя его апостольского величества снова стал религиозным) приглашает всех министров и сановников на утренний прием. Нехватает лишь одного: герцога Отрантского. Он не приглашен, хотя и занимает министерский пост. Император предлагает своим советникам занять места за столом и без предупреждений обращается к ним с вопросом: «Какого вы мнения о министре, который злоупотребляет своим положением и без ведома своего государя завязывает сношения с иностранной державой? О министре, который ведет переговоры на выдуманных им основах и таким образом предаст гласности политику страны? Какое наказание предусматривает наш кодекс для подобного нарушения долга?» Поставив этот суровый вопрос, император оглядывается, ожидая без сомнения от своих приближенных и креатур немедленных предложений об изгнании или о других столь же позорных мерах. Но, увы! министры, угадывая, в кого направлена стрела, хранят неловкое молчание. В душе они солидарны с Фуше, энергично стремящимся к заключению мира, и, как истинно честные слуги, они рады смелому удару, нанесенному самодержцу. Талейран (уже не министр, а призванный для разбора этого дела как высший сановник) усмехается втихомолку; он вспоминает о собственном унижении, перенесенном два года тому назад, и ему доставляет удовольствие затруднительное положение, в котором очутились, с одной стороны, Наполеон, а с другой — Фуше; он не питает симпатии к обоим. Наконец канцлер Камбасерес нарушает молчание и высказывается в примирительном духе: «Это безусловная ошибка, заслуживающая строгой кары, простительная лишь в том случае, если виновный совершил ее из чрезмерного усердия к служебным обязанностям». «Чрезмерное усердие к служебным обязанностям!» гневно восклицает Наполеон, — этот ответ ему не нравится, он не желает оправдания, он желает дать серьезный урок, су-рово наказать за самовольные действия. Выволнованно он

сообщает ход событий и требует от присутствующих назначения преемника Фуше.

И снова: ни один министр не торопится вмешаться в это неприятное дело, — страх перед Наполеоном всегда уступает место страху перед Фуше. Наконец Талейран, как всегда в затруднительном положении, прибегает к своему излюбленному приему, — к шутке. Обращаясь к соседу, он говорит вполголоса: «Несомненно господин Фуше сделал ошибку, но если б мне пришлось назначать ему преемника, я назначил бы того же самого Фуше». Недовольный своими министрами, из которых он сам сделал автоматов и робких мамелюков, Наполеон закрывает заседание и призывает канцлера к себе в кабинет. «Право, не стоит труда обращаться за советом к этим господам. Вы видите, какие полезные предложения они делают. Но, надеюсь, вы не думаете, что я хотел спросить у них совета прежде, чем не решил сам этого вопроса. Я сделал свой выбор, — герцог Ровиго будет министром полиции». И не дав герцогу Ровиго возможности высказаться, чувствует ли он влечение к столь неприятной миссии, император еще в тот же вечер встречает его резким приказанием: «Вы министр полиции. Присягните и возьмитесь за дело!»

Увольнение Фуше становится злобой дня, и сразу же все симпатии общества переходят на его сторону. Ничто не могло привлечь к этому двуличному министру таких симпатий, как сопротивление этому безграничному и ставшему в тягость, для привыкшего к свободе поколения, самодержавию человека, выдвинутого революцией. И никто не хочет понять, что стремление к миру с Англией даже против воли воинственного императора является преступлением, заслуживающим кары. Все партии: роялисты, республиканцы и якобинцы, а также и иностранные послы единодушно видят в падении последнего прямодушного министра Наполеона явное поражение идеи мира, и даже в собственной опочивальне Наполеон выслушивает от второй своей жены, Марии-Луизы, также как некогда выслушивал от первой жены, Жозефины, слова заступничества за Жозефа Фуше. Единственный человек при дворе, на которого ее отец, австрийский император, указал как на достойного доверия, теперь уво-

лен, — смущенно заявляет она. Что может ярче выразить настроение французской общественности в ту минуту, чем то, что недовольство императора возвысило человека в глазах общества, а новый министр полиции Савари характеризует ошеломляющее впечатление, произведенное увольнением Фуше, следующими словами: «Я полагаю, что весть о появлении чумы не могла бы вызвать большего испуга, чем мое назначение министром полиции» Действительно, Жозеф Фуше вырос вместе с императором за эти десять лет.

Непонятно, как могла эта мера рикошетом задеть Наполеона. Но во всяком случае, устранив Фуше, он поспешно принимает меры предосторожности. Задним числом пилюля золотится, также как раньше, в 1802 году, и маскируется новым назначением. Герцогу Отрантскому потеря министерского поста компенсируется почетным титулом государственного советника, и его назначают послом империи в Риме. Письмо об отставке, адресованное Фуше, как нельзя лучше характеризует колебания императора между страхом и гневом, между упреками и благодарностью, между злобой и примирением. «Господин герцог Отрантский, — пишет он, — я ценю услуги, которые вы мне оказали, верю в преданность мне и в ваше усердие к службе. Все же я не имею возможности оставить вас на посту министра, — я уронил бы этим свое достоинство. Пост министра полиции требует полного, неограниченного доверия, а это доверие не может иметь место с тех пор, как вы поставили на карту мое спокойствие и спокойствие государства; в моих глазах это не находит себе оправдания даже в похвальных побуждениях. Ваше странное представление об обязанностях министра полиции не согласуется с благом государства. Не сомневаясь в вашей преданности и верности, я все же был бы вынужден прибегнуть к постоянному утомительному надзору, на который я не способен. Наблюдение за вами стало бы необходимым следствием многих шагов, которые вы предпринимаете по собственному побуждению, не зная, соответствуют ли они моей воле, моим намерениям... Я не могу надеяться, что вы измените ваш образ действий, так как уже в течение нескольких лет выражения моего недовольства не могли ничего изменить. Опираясь

на чистоту своих намерений, вы не хотели понять, что добрые побуждения могут породить не мало невзгод. Моя вера в ваши способности и вашу преданность непоколебима. Я надеюсь, что скоро вам представится случай применить первое и доказать второе на моей службе». Это письмо, как секретный замок, открывает тайные чувства Наполеона к Фуше, и стоит второй раз перечитать это маленькое мастерское произведение, чтобы ощутить, как желание и осторожность, признание и антипатия, страх и скрытое уважение пронизывают каждую фразу. Самодержец хочет иметь раба и озлоблен, что наталкивается на самостоятельного человека. Он стремится от него отделаться, но боится обратить его во врага. Ему жаль его терять и вместе с тем он счастлив, что освобождается от опасного человека.

Но по мере роста наполеоновского самомнения выросло до гигантских размеров и самомнение его министра, а общая симпатия заставляет Жозефа Фуше проявлять еще большую непоколебимость. Нет, герцог Отрантский не позволит так просто себя отстранить. Пусть Наполеон полюбуется, какой вид примет министерство полиции, когда Жозефа Фуше выставят за дверь, и пусть почувствует его преемник, что он сел в осиное гнездо, а не на министерское кресло, взяв на себя смелость его заменить. Не для неловких пальцев старого воина, подобно Савари, совершенного новичка в дипломатическом мире, трудился он десять лет над сооружением превосходно настроенного инструмента, не для того чтобы глухой неуч продолжал его работу и выдавал за свои достижения все, придуманное его предшественником за дни и ночи тяжкого труда. Нет, им не дадут его увольнение так легко, как они оба себе это представляют. Оба они узнают, и Наполеон и Савари, что Жозеф Фуше умеет не только гнуть спину, как все приспешники, но и показывать когти.

Фуше решил не уходить с покорно склоненной головой. Он не желает худого мира, не желает спокойной капитуляции. Он, конечно, не так глуп, чтобы оказывать открытое сопротивление,— это не в его натуре. Он позволит себе только небольшую шуточку, остроумную, веселую шуточку, над которой посмеется Париж и которая покажет Савари, что в лесах герцога Отрантского расста-

влены превосходные капканы. Не надо забывать об удивительной сатанинской черте характера Жозефа Фуше: сильная злоба вызывает у него потребность в жестокой шутке, его мужество, вырастая, превращается не в доблесть, а в грубую, опасную надменность. Тех, кто приближается к нему, он в своем озлоблении никогда не ударяет кулаком, но всегда — шутовским бичом, и притом так, что в шутах остается его противник. Вспениваются и шипят все страстные побуждения, скрытые в этом замкнутом человеке, и эти мгновения гневного веселья обнажают затаенную страстность и демонизм его природы.

Итак, нужно сыграть славную шутку с его пресмником! Ее не трудно придумать, особенно если имеешь дело с таким наивным болваном. Герцог Отрантский облачается в парадный мундир и надевает маску исключительной вежливости для встречи своего преемника, когда тот является к нему с визитом. И действительно, едва входит Савари, герцог Ровиго, как Фуше осыпает его потоком любезностей. Он не только поздравляет его со столь почетным назначением, но и благодарит его за то, что Савари освобождает его от этой утомительной и обременительной должности. Он уверяет, что счастлив получить, наконец, возможность отдохнуть от огромного труда. Ибо управлять этим министерством, говорит он, не только огромная, но и неблагодарная работа, — в чем герцог быстро убедится, — в особенности для человека, не привыкшего к ней. Во всяком случае, он выражает готовность быть ему полезным, чтобы немного запутанные дела министерства — ведь увольнение застало его врасплох — быстро привести в порядок. Конечно, прибавляет он, это потребует некоторого времени, но если герцог Ровиго согласен, он, Фуше, охотно возьмет на себя небольшой труд, пока герцогиня Отрантская не переберется на новую квартиру. Добродушный Савари, герцог Ровиго, не замечает ложки дегтя в бочке меда. Он приятно поражен исключительной любезностью человека, которого все считают злобным и хитрым, и даже вежливо благодарит герцога Отрантского за его исключительную услужливость. Конечно, пусть Фуше остается, пока это ему нужно; откланиваясь, он растроганно жмет руку честного, неоцененного человека.

Как жаль, что нельзя было видеть и зарисовать лицо Жозефа Фуше в тот миг, когда дверь закрылась за его обманутым пресмником. Глупец, неужели ты думаешь, — рассуждает он, — что я наведу порядок в министерстве и, аккуратно разложив по папкам, передам в твои неуклюжие плавники все тайны, собранные за десять лет кропотливого труда? Неужели стану для тебя смазывать и чистить эту машину, мною чудесно придуманную, совершенно бесшумно всасывающую и перерабатывающую своими зубцами и колесами сведения, поступающие со всей страны? Глупец, тебе еще придется разинуть рот!

Сейчас же начинается бешеная работа. Верный друг призван на помощь. Тщательно запирается дверь в кабинет, и все важные и секретные бумаги поспешно вытаскиваются из дел. Те, которые еще смогут когда-нибудь быть ему полезными, обвинительные и предательские документы, Жозеф Фуше откладывает для личного употребления, остальные беспощадно сжигаются. Зачем господину Савари знать, кто из представителей знати предместья Сен-Жермен, кто из военных, кто из придворных оказывал шпионские услуги? Это слишком облегчит ему работу. Итак — в огонь эти списки! Пусть останутся имена совершенно незначительных шпионов и доносчиков, дворников и проституток, от которых он все равно ничего важного не узнает. С молниеносной быстротой опустошаются папки. Исчезают важные списки и имена значительных роялистов и тайных корреспондентов, искусно все приводится в беспорядок, уничтожается регистратура, дела снабжаются неверной нумерацией, цифры переставляются, и вместе с тем важнейшие служащие будущего министра привлекаются в качестве шпионов для тайных услуг, чтобы тайно осведомлять прежнего и действительного хозяина. Винт за винтом разбирает и ломает Фуше громадную машину, чтобы не сходились зубцы и развалилось все сооружение в руках доверчивого преемника. Как русские сжигали свой священный город Москву перед вступлением Наполеона, чтобы лишить его удобной базы, так разрушает Фуше любимое произведение своей жизни. Четыре дня и четыре ночи дымится камин, четыре дня и четыре ночи продолжается эта дьявольская работа.

И никто не догадывается, что государственные тайны переносятся в шкафы Ферьера — или рассеиваются вместе с дымом.

И потом снова — исключительно вежливый, исключительно любезный реверанс перед доверчивым пресмником: прошу вас, садитесь! Рукопожатие и принятая с улыбкой благодарность. Собственно говоря, герцогу Отрантскому следовало бы теперь в курьерской карете мчаться в Рим на свой посольский пост. Но он хочет еще побывать в своем замке — Ферьере. И там, трепеща от нетерпения и радости, он ждет первых признаков гнева своего обманутого преемника, когда тот раскусит шуточку, сыгранную с ним Фуше.

Не правда ли, пьеска прекрасно придумана, тонко разыграна и смело доведена до конца? К сожалению, одну маленькую оплошность допустил Жозеф Фуше в этой веселой мистификации. Он полагал, что потешается над неопытным, свежее испеченным герцогом, этим министерским младенцем, но забыл, что его преемник назначен властелином, который шутить с собой не позволяет. И без того Наполеон недоверчиво следит за поведением Фуше. Ему не нравится эта медлительность в передаче дел и откладывание поездки в Рим. Кроме того расследование, предпринятое в отношении деятельности Уврара, главного помощника Фуше, дало неожиданные результаты: выяснилось, что Фуше еще раньше, через другого посредника, передавал документы для английского кабинета. Шутить с Наполеоном пока никому не удавалось. Вдруг, 17 июня, приходит в Ферьер резкое, как удар хлыста, послание: «Господин герцог Отрантский, прошу вас переслать мне донесение, переданное вами некоему господину Фаган для переговоров с лордом Уелеслей, и привезенный им ответ, о которых я ничего не знал». Эти грозные фанфары могли бы разбудить и мертвого. Но Фуше, опьяненный самомнением и задором, не торопится с ответом. Тем временем в Тюильри подливается масла в огонь. Савари обнаруживает ограбление министерства полиции и смущенно сообщает об этом императору. Сейчас же летят второе и третье послания с приказанием немедленно переслать «весь министерский портфель». Секретарь кабинета лично передает приказание и поручение отобрать

у герцога Огрантского противозаконно присвоенные им бумаги. Шутка кончена, начинается борьба.

Действительно, шутка кончена: пора бы Фуше понять это. Но он, словно подгоняемый дьяволом, собирается всерьез померяться силами с Наполеоном, с самым сильным человеком мира. Он выражает посланнику свое крайнее сожаление в том, что не имеет этих бумаг. Он все сжег. Этому не верит ни один человек, и меньше всех Наполеон. Вторично он шлет Фуше напоминание, — суровее, настойчивее: его нетерпение известно. Но необдуманность становится упорством, упорство — наглостью, наглость — вызовом. Фуше повторяет, что у него нет ни одного листочка, и приводит почти шантажное объяснение мотивов мнимого уничтожения частных бумаг императора. Император, говорит он извиняясь, удостоил его столь большого доверия, что поручил напоминать его братьям об их обязанностях, когда им случалось вызывать недовольство его величества. И так как каждый из братьев в свою очередь поверял ему свои жалобы, то он считал долгом не хранить таких писем. Сестры его величества также не были ограждены от клеветы, и император сам удостоивал сообщать ему о всех слухах и поручал допытываться, какие именно неблагоприятные поступки августейших сестер могли их вызвать. Это ясно, совершенно ясно: Фуше намекает императору, что он многое знает и не позволит обращаться с собой как с лакеем. Посланец понимает шантажный характер угрозы и, конечно, затрудняется решить, в какой форме можно передать повелителю такой дерзкий ответ. Тут император выходит из терпения. Он так неистовствует, что герцог Масса принужден его успокаивать и, желая положить конец досадному делу, предлагает лично побудить строптивого министра выдать утаенные бумаги. Вторичное требование исходит от нового министра полиции герцога Ровиго. Но Фуше на все отвечает с одинаковой вежливостью и решительностью: очень, очень жаль, но чрезмерная осторожность побудила его сжечь бумаги. Впервые во Франции позволяет себе человек открыто оказать сопротивление императору.

Но это уж слишком. Так же, как Наполеон за десять лет не оценил Фуше, так и Фуше не оценил Наполеона, допуская мысль, что его можно напугать разглашением

нескольких тайн. Сопротивляться перед лицом всех министров человеку, которому царь Александр, австрийский император, саксонский король предлагали в жены своих дочерей, перед которым трепещут, как школьники, все немецкие и итальянские короли! Эта высохшая мумия, этот жалкий интриган, еще не сносивший герцогской мантии, не желает подчиниться человеку, против которого не могли устоять все армии Европы? Нет, с Наполеоном нельзя себе позволять таких шуток. Он немедленно призывает шефа своей личной полиции, Дюбуа, и громит в самых яростных выражениях «мерзкого, подлого Фуше». Твердыми шагами ходит он гневно взад и вперед и вдруг восклицает: «Пусть он не надеется, что ему удастся проделать со мной то, что он сделал с богом, Конвентом и директорией, которых он подло предал и продал. У меня более зоркий взгляд, чем у Барраса; со мной игра не будет так легка, я советую ему быть остороже. Я знаю, что у него есть документы и инструкции, переданные ему мною, я настаиваю, чтобы он их вернул. Если он откажется, передайте его немедленно десятку жандармов, пусть его отправят в тюрьму и, клянусь, я ему покажу, как быстро я умею расправляться».

В воздухе запахло гарью. Даже нечувствительный нос Фуше не мог этого не заметить. Когда Дюбуа является, Фуше вынужден допустить, чтобы у него, у герцога Отрантского, у бывшего министра полиции, его бывший подчиненный опечатал бумаги, — мера, которая могла бы оказаться опасной, если бы осторожный министр не спрятал заранее самые существенные и важные документы. Но все же он начинает понимать, что ударился головой об стенку. Он быстро пишет теперь письмо за письмом, одно императору, другие отдельным министрам, чтобы пожаловаться на недоверие, которое оказывают ему, самому честному, самому искреннему, самому выдержанному, самому верноподданному министру, и в одном из этих писем особенно очаровательна фраза: «Il n'est pas dans mon caractère — de changer»,¹ в самом деле, эти слова собственноручно, черным по белому, написал этот хамелеон Фуше. И так же, как пятнадцать лет тому назад

¹ Не в моем характере изменять.

в столкновении с Робеспьером, он надеется и здесь быстрым примирением отстранить несчастье. Он велит запрячь карету и едет в Париж, чтобы лично представить императору свои объяснения, или, вернее, извинения.

Но уже поздно. Он слишком долго забавлялся, слишком долго шутил, — теперь примирение невозможно, невозможно и соглашение; кто смел сделать публичный вызов Наполеону, тот должен быть публично унижен. Он получает письмо, такое суровое, такое резкое, какого, вероятно, Наполеон не писал ни одному из своих министров. Оно очень кратко, это письмо, этот пинок ногой: «Господин герцог Отрантский, ваши услуги мне больше не угодны. В течение двадцати четырех часов вы обязаны выехать в свое поместье». Никакого упоминания о назначении послом в Рим уже нет; откровенное, грубое увольнение — и к тому же изгнание. Одновременно министр полиции получает приказание проследить за немедленным исполнением эдикта.

Напряжение было слишком велико, игра слишком отважна, — и кончается она неожиданно: Фуше сломлен; он подобен лунатику, который смело гуляет по крышам, но, разбуженный громким окриком, приходит в ужас от своей безумной смелости и падает в пропасть. Тот самый человек, который не терял ясности и спокойствия мысли почти у подножия гильотины, съезживается самым жалким образом под ударами Наполеона.

Это 3 июля 1810 года — Ватерлоо для Фуше. Нервы не выдерживают, — он бросается к министру за заграничным паспортом, он мчится без остановок, меняя на каждой станции лошадей, в Италию. Там он бежит, как отравленная крыса по горячей плите, вдоль и поперек, — с места на место. То он в Парме, то во Флоренции, то в Пизе, то в Ливорно, вместо того чтобы отправиться, согласно предписанию, в свое поместье. Он охвачен отчаянной паникой. Лишь бы только быть вне досягаемости Наполеона — там, куда не дотянется его рука. Даже Италия кажется ему недостаточно верной защитой, — это все же Европа, а вся Европа подчинена этому ужасному человеку. И вот, в Ливорно он нанимает корабль, чтобы перебраться в Америку, в страну безопасности, в страну свободы, но буря, морская болезнь и страх перед англий-

скими крейсерами топят его обратно, и, снова обезумев, несетя он в карете зигзагами из порта в порт, из города в город, молит о помощи у сестер Наполеона, у князей, у приятелей, исчезает, появляется снова на поверхности к огорчению полицейских чиновников, нападающих на его след и снова теряющих его, — словом, он ведет себя как сумасшедший, как обезумевший от страха человек, и впервые он, человек, лишенный нервов, может служить клиническим примером полного нервного потрясения. Никогда Наполеон одним движением, одним ударом кулака не разбивал противника так решительно, как этого самого смелого и хладнокровного из своих слуг.

Это ныряние в безвестность, это появление на поверхности, это лихорадочное скитание продолжается дни, недели, и нельзя понять (даже его превосходный биограф Маделен не знает этого, да, вероятно, и он сам не знал), чего он хотел и куда стремился. Повидимому, лишь в карете он чувствует себя в безопасности от мнимой мести Наполеона, который давно уже не думает серьезно посягать на жизнь своего неукротимого слуги. Наполеон хотел только настоять на своем, вернуть свои бумаги, и этого он достиг. Ибо пока обезумевший истерик гоняет почтовых лошадей по всей Италии, его жена в Париже поступает значительно благоразумнее. Она капитулирует вместо него. Нет сомнения, что герцогиня Отрантская, чтобы спасти своего мужа, тайно вручила Наполеону коварно скрытые бумаги, ибо никогда не был опубликован ни один из тех интимных листков, на которые намекал Фуше, шантажируя Наполеона. Документы, касавшиеся лично Наполеона, исчезли бесследно так же, как бумаги Барраса, откупленные императором, и бумаги других неудобных поверенных периода его взлета. Быть может сам Наполеон, а может быть Наполеон третий окончательно уничтожил документы, которые могли не соответствовать канонизованному изображению Наполеона.

Наконец Фуше получает милостивое разрешение отправиться в свое поместье в Экс. Гроза рассеялась, молния поразила лишь нервы, пощадив мозг. 25 сентября прибывает загнанный Фуше в свое поместье, «бледный, усталый, бессвязностью мысли и речи обнаруживая нервное расстройство». Но у него будет достаточно времени, чтобы

привести свои нервы в порядок, ибо кто раз оказал сопротивление Наполеону, тот надолго освободился от всех общественных дел. Честолюбивый министр должен расплачиваться за свою злую шутку: снова волна опрокинула его и бросила на дно. На три года лишился Жозеф Фуше положения и должности: началось его третье изгнание.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ВЫНУЖДЕННОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

1810 — 1815

Началось третье изгнание Жозефа Фуше. Отставленный от службы министр, герцог Отрантский, живет в своем великолепном замке Экс, как суверенный государь. Ему пятьдесят два года, он познал до конца все труды и радости, все успехи и неудачи политической жизни, вечную смену прилива и отлива бурного моря судьбы. Он испытал милость могущественных людей и отчаяние покинутого человека, он знал заботы о насущной корке хлеба и был безмерно богат, его любили и ненавидели, его прославляли и изгоняли, — теперь он, герцог, сенатор, превосходительство, министр, государственный советник, многократный миллионер, ни от кого не зависящий, кроме собственной воли, может, наконец, отдохнуть на золотом берегу. Спокойно выезжает он в своей пышной карете на прогулку, делает визиты местному дворянству, пользуется высшими почестями в своей провинции и получает тайные выражения симпатии из Парижа; он избавлен от раздражающей работы с глупыми чиновниками и деспотическим повелителем. Если судить по его довольному виду, герцог Отрантский чувствует себя прекрасно *procul negotiis*.¹ Но как обманчив этот довольный вид, ясно из следующего места (без сомнения достоверного) его (вообще мало достоверных) мемуаров: «въевшаяся в меня привычка знать обо всем не оставляла меня и мучила во время скучного и однообразного, хотя и приятного изгна-

¹ Вдали от дел.

ния». ¹ По его собственному признанию «le charme de sa retraite» (прелесть его уединению) придает не нежный пейзаж Прованса, а собрание известий и доносов из столицы. «С помощью верных друзей и надежных посланцев я организовал тайную переписку с Парижем, получая регулярно известия, взаимно друг друга дополнявшие. Одним словом, я имел в Экс свою частную полицию». Неугомимый человек занимается теперь ради спорта тем, чем ему не дозволено заниматься по службе. Если он уже не может более бывать в министерствах, то ему хочется, по крайней мере, заглядывать чужими глазами в замочные скважины, чужими ушами подслушивать совещания, а более всего выведывать, нет ли, наконец, возможности вновь предложить свои услуги, вновь протолкаться к игорному столу современности.

Но герцогу Отрантскому придется еще долго дожидаться в стороне, потому что Наполеон в нем не нуждается. Он стоит на высоте могущества, он покорила Европу, он зять австрийского императора, самое пламенное его желание исполнилось, — он отец римского короля. Покорно виляют перед ним все немецкие и итальянские государи, благодарные за милость, за то, что ему угодно было оставить им их короны и коронки; уже пошатнулся его последний и единственный враг — Англия. Этот человек так силен, что он может с улыбкой отказаться от таких ловких, но мало надежных помощников, как Фуше, а сам господин герцог имеет теперь впервые достаточно досуга, чтобы спокойно размышлять о безумной заносчивости, толкавшей его состязаться с этим самым могущественным из всех людей. Император не удостоивает его даже чести показать свою ненависть, — с той огромной высоты, на которую судьба его вознесла, он и не замечает маленького злого насекомого, жившего некогда в его шубе, которое он вытряхнул одним сильным

¹ Я никогда не ссылаюсь в этой работе на вышедшие в 1824 году мемуары герцога Отрантского, потому что они написаны чужой рукой, хотя в них и попадает подлинный материал. Поскольку сам двучличный Фуше участвовал в их составлении, вопрос до сих пор еще не разрешенный наукой. Пока еще остается в силе остроумное замечание Генриха Гейне, который, говоря об «известной лживости» Фуше, прибавляет: «его лживость заходила так далеко, что он и после смерти издал лживые мемуары». *Прим. авт.*

взмахом. Он не замечает ни его навязчивости, ни его отсутствия. Фуше для него более не существует. Ничто яснее не указывает павшему министру, как мало Наполеон его уважает и боится, как данное ему разрешение спать переехать в его замок в Феррьерре, в двух часах езды от Парижа. Ближе, правда, император его не допускает, Париж и Тюильри закрыты для человека, который осмелился ему противодействовать.

Только единственный раз в течение этих двух пустых лет Жозеф Фуше был приглашен во дворец. Наполеон подготавливает войну против России, все отговаривают его, и ему хочется, чтобы Фуше высказал на этот раз свое мнение. Фуше, если только можно верить ему, страстно предостерегает, передает (если только он его не сфабриковал *post factum*) тот меморандум, о котором говорится в его воспоминаниях; но Наполеон уже давно может выслушивать лишь тех, кто подтверждает его собственные мнения, он нуждается только в слепом согласии с его словами. Ему кажется, что те, кто отговаривают его от войны, сомневаются в его величии. Поэтому Фуше холодно отсылает обратно в его замок, в праздное изгнание, между тем как император с шестьюстами тысяч человек предпринимает самое смелое и самое безумное из своих дел, поход на Москву.

В удивительной и переменчивой жизни Жозефа Фуше наблюдается странная ритмичность. Когда он подымается, все ему удается; когда он падает, счастье поворачивается к нему спиной. Теперь, когда он огорчен и озлоблен, находится в тени, в немилости, в бездеятельности, выжидая событий вдали от города в своем отдаленном замке, именно теперь, когда он разочарован и нуждается в душевной поддержке, сочувствии и нежном утешении, теряет он верную спутницу, единственного человека, в течение двадцати лет поддерживавшего его с любовью и терпением на его опасном пути, — он теряет жену. Во время первого изгнания в мансарде умерли первые двое детей, которых он больше всего любил, во время третьего изгнания покидает его спутница жизни. Эта потеря потрясает его, казавшегося бесчувственным, до глубины души. Хотя этот непроницаемый человек изменял всем партиям, не был устойчив ни в одной идее, но своей некрасивой женой

он был нежно прелан, был внимательнейшим мужем, заботливым отцом. Так точно, как под маской сухого бюрократа скрывается нервный интриган и игрок, так сквозь его коварство и низость робко и незаметно проступает французский провинциал, верный мещанин-супруг, человек, чувствующий себя спокойно и хорошо только в узком кругу своей семьи. Весь запас доброты и прямоты, который имелся в этом лукавом дипломате, он любовно и молчаливо отдал своей спутнице, жившей только для него, никогда не принимавшей участия в придворных празднествах, банкетах и приемах, никогда не вмешивавшейся в его опасную игру. Здесь, в недоступном убежище его частной жизни скрывалась противодействующая сила, уравновешивавшая все беспокойное, рискованное, неустойчивое его политического существования. И вот рухнула эта опора теперь, когда он в ней более всего нуждается. Впервые чувствуется, что этот каменный человек действительно потрясен, впервые слышится в его письмах теплый, правдивый, искренний человеческий тон. Друзья советуют ему опять добиваться поста министра полиции, после того, как его преемник герцог де Ровиго сделался посмешищем всего Парижа, попав, благодаря комичной проделке какого-то полупомешанного субъекта, под арест, но Фуше отказывается от всякого возвращения к политической жизни: «Мое сердце закрыто для всей этой человеческой суеты. Власть не привлекает меня, в моем теперешнем состоянии мне нужен только покой. Общественные дела представляются мне сумбуром, смятением, полным опасностей». Впервые кажется, что этот умный человек научился мудрости в школе страдания. Глубокая потребность в отдыхе, во внутреннем успокоении овладела стариком после двадцати лет бессмысленной погони за почестями, когда он потерял спутницу этих страшных лет. Кажется, в нем угасла навсегда страсть к интригам, и воля к власти наконец-то окончательно сломлена в этой коварной, вечно стремившейся к стяжанию душе.

Но какая трагическая ирония! В первый и единственный раз, когда беспокойный Фуше, наконец, желает только покоя и отказывается от службы, его противник Наполеон насильно навязывает ему ее.

Не любовь, не привязанность, не доверие заставляют

Наполеона опять призвать Фуше на службу, а недоверие, внезапное сомнение в своих силах... Впервые возвращается император побежденным. Не во главе своей армии, высоко на коне, окруженный развевающимися знаменами, въезжает он через триумфальную арку в Париж, а, словно беглец, возвращается ночью, закрывши лицо шубой, чтобы не быть узнанным. Лучшая из всех созданных им армия замерзла в русских снегах, ореол непобедимости утрачен, и с ним исчезли все друзья. Все императоры и короли, которые еще вчера и позавчера стояли перед ним согнувши спины, внезапно вспоминают о своем достоинстве при виде побежденного императора. Весь мир выступает с оружием в руках против своего сурового повелителя. Из России идут казаки, из Швеции выступает старый соперник Бернадот, его собственный тесть император Франц вооружается в Богемии, порабощенная Пруссия подымается, горя мщением, — бесчисленные, легкомысленные войны, как зубы дракона,¹ как страшный посев, брошенный в изрытую, опустошенную, истерзанную почву Европы, приносят свои плоды, и жатва этой осенью будет собрана на полях Лейпцига. Повсюду колеблется и трещит гигантское здание, сооруженное в течение десяти лет этой мировой волей. Из Испании, Вестфалии, Голландии и Италии бегут прогнанные братья Бонапарта. От Наполеона требуется теперь наивысшее напряжение сил. С удивительным проникновением и предусмотрительностью, с десятикратной энергией подготавливает он все для последнего, решительного боя. Из Франции вызывают всех, кто еще в состоянии носить ранец или сидеть на коне, отовсюду, из Италии, из Испании, стягиваются испытанные войска, чтобы восстановить то, что раздробила русская зима своим ледяным молотом. День и ночь тысячи людей куют сабли, отливают пушки, из скрытых золотых запасов чеканят монету, из тайников Тюильри добывают запрятанные сокровища, крепости приводятся в боевую готовность, с востока и запада тяжелой поступью движутся к Лейпцигу войска, и в то же время во всех направлениях раскидываются дипломатические сети. Фран-

¹ Греческий миф о золотом Руне. Из брошенных в землю зубов дракона выросли войны. *Прям. перев.*

дня окружена железной колючей проволокой, в которой не должно быть ни одного слабого и ненадежного места, ни одного прорыва, ни одной трещины, каждая возможность должна быть учтена, фронт и тыл надежно защищены. Нельзя допустить, чтобы глупость или злоба вторично, как во время русского похода, потрясли или смутили доверие народа к Наполеону. Все сомнительные люди должны быть выброшены, все подозрительные должны быть под строгим наблюдением.

Перед этим решительным боем император хочет учесть все шансы и предусмотреть каждую возможность, предупредить каждую возможную опасность. И вот он вспоминает о том, кто может стать опасным, о Жозефе Фуше. Мы видим, он о нем не забыл, он только не обращал на него внимания, пока сам был силен. Но теперь, чувствуя неуверенность, он хочет обеспечить себя. Нельзя оставлять у себя за спиной в Париже ни одного возможного врага. Он не может считать Фуше в числе своих друзей и решает, что он должен быть удален из Парижа.

Конечно, еще нет никаких обязательных поводов для того, чтобы арестовать и упрятать в крепость этого беспокойного человека, для ограждения себя от его интриг и козней. Но на свободе его тоже нельзя оставлять. Лучше всего связать руки этого страстного игрока какой-нибудь службой, — если возможно, вдали от Парижа. Но напрасно посреди сумятицы дел и военных приготовлений ищут в главной квартире в Дрездене подобного назначения, которое было бы почетным и ограждало бы от его козней; найти его не так легко. Но Наполеон горит нетерпением удалить из Парижа эту темную личность. Если для Фуше нельзя найти подходящей должности, надо придумать ее, и вот он получает совершенно фантастическое назначение: правителя занятых в Пруссии областей. Прекрасная должность, первоклассная, без сомнения почетная, но с одним маленьким недостатком; она зависит от одного «если»: ее можно занять, если Наполеон завоюет Пруссию. А между тем военные события до сих пор дают мало оснований на это рассчитывать: Блюхер серьезно теснит императора на его саксонском фланге, таким образом назначение является какой-то шуткой, чем-то висящим в воздухе. 10 мая император пишет герцогу Отрантскому: «Я

приказал сообщить вам о своем намерении вызвать вас ко мне немедленно после того, как я вторгнусь во владения прусского короля, чтобы поставить вас во главе правительства этой страны. Об этом в Париже не должно быть ничего известно. Все должно иметь вид, будто вы отправляетесь в свое имение, и в то время, когда вы будете уже здесь, все должно думать, что вы дома. Одной только императрице известно о вашем отъезде. Я рад возможности воспользоваться вашими услугами и получить доказательства вашей преданности». Так пишет император Жозефу Фуше именно потому, что он совершенно не верит в его «преданность». И угадав тотчас сокровенное намерение своего повелителя, Фуше недоверчиво и неохотно собирается в путь в Дрезден. «Мне было сразу ясно, — пишет он в своих мемуарах, — что император, боясь, чтоб я оставался в Париже, хотел иметь меня в качестве заложника в своих руках и единственно для этого вызвал меня к себе». Поэтому будущий правитель Пруссии не очень торопится в государственный совет в Дрезден, потому что он знает, что в действительности не столько нуждаются в его советах, сколько желают связать ему руки. Он приезжает только 29 мая, и первые слова, с которыми император обращается к нему, следующие: «Вы приехали слишком поздно, господин герцог».

О смехотворном намерении поручить ему управление Пруссией, само собой понятно, в Дрездене не говорят больше ни слова; момент слишком серьезный для подобных шуток. Но его теперь держат крепко в руках, и к счастью находится другой великодушный пост для того, чтобы удалить его от места событий, правда, не столь призрачный пост, как прежний, где-то в воздухе или на луне, но все же на сотни километров расстояния от Парижа, а именно — наместничество Иллирии. Старый товарищ Наполеона, генерал Жюно, управлявший этой провинцией, сошел с ума, — таким образом освободилось помещение для непокорных. С едва скрываемой иронией вручает император это недолговечное полномочие Жозефу Фуше, который, как всегда, не противится, почтительно кланяется и выражает готовность немедленно отправиться в путь.

Название Иллирия звучит несколько по-опереточному,

и действительно, — какое пестрое государство было выкроено по последнему насильственному мирному договору из обрывков Фриуля, Каринтии, Далмации, Истрии и Триеста! Государство без объединяющей идеи, без смысла и цели, с маленькой крестьянской столицей Лайбах, какая-то уродливая, нежизнеспособная нелепость, порожденные опьяненного самовластия и близорукой дипломатии. Фуше находит там только полупустые кассы, несколько десятков скучающих чиновников, очень мало солдат и недоверчивое население, с нетерпением ожидающее ухода французов. Это искусственное, наспех созданное государство трещит уже по всем швам, несколько пушечных выстрелов, — и шаткое здание рухнет. Эти выстрелы сделает в скором времени собственный тесть Наполеона, император Франц, и тогда всему иллирийскому величию наступит конец. Фуше и думать не может о серьезном противодействии, имея всего несколько полков, составленных главным образом из кроатов, готовых при первом выстреле перейти на сторону своих старых товарищей. Поэтому с первого же дня он начинает готовиться к отступлению и, с целью лучше замаскировать его, сохраняет по внешности вид беззаботного правителя, дает балы, устраивает приемы, парады своим войскам, а ночью тайно отправляет деньги и документы в Триест. Все, что он может сделать в качестве правителя, ограничивается тем, чтобы осторожно, шаг за шагом, с возможно меньшими потерями эвакуироваться. При этом стратегическом отступлении блестяще обнаруживаются снова его обычное хладнокровие, решительность и энергия. Он отступает шаг за шагом и без потерь из Лайбаха в Герц, из Герца в Триест, из Триеста в Венецию; ему удается вывести из своей недолговечной Иллирии почти всех своих чиновников, кассу и много ценных материалов. Но что составляет потеря этой жалкой провинции! В эти самые дни теряет Наполеон самое важное и последнее в этой войне большое сражение, он проигрывает битву народов при Лейпциге и вместе с тем господство над миром.

Фуше безупречно, наилучшим образом справился со своей задачей. Теперь уж не приходится больше управлять Иллирией, он свободен и, разумеется, желает вернуться в Париж. Но Наполеон иного мнения. Ни под каким ви-

дом нельзя дозволить, именно теперь, людям, подобным Фуше, вернуться в Париж. Еще в Дрездене император сказал: «Фуше такой человек, которого при теперешних обстоятельствах нельзя оставлять в Париже», а теперь, после Лейпцига, эти слова приобретают в двадцать раз большее значение. Его нужно убрать куда-нибудь, куда-нибудь подальше, во что бы то ни стало. Посреди тяжелых забот об отражении коалиции пяти держав император поспешно придумывает другую миссию для неудобного человека и опять такую, которая сделала бы его безвредным на все время похода. Нужно дать ему возможность заняться дипломатическими интригами и не пускать в Париж этого человека с вечным зудом в руках. Наполеон посылает его в Неаполь (Неаполь далеко), чтобы напомнить Мюрату, неаполитанскому королю и шурина императора, занятому больше своим королевством, чем делами империи, о его обязанностях и побудить его идти с армией на помощь императору. Неизвестно, как Фуше исполнил свое поручение, — убеждал ли он старого генерала наполеоновской кавалерии оставаться верным последнему, или, наоборот, поддерживал его в измене, историками не выяснено. Во всяком случае, цель императора достигнута, — Фуше по ту сторону Альп, за тысячи миль, в течение четырех месяцев занят бесконечными переговорами. В то время, как австрийцы, пруссаки и англичане уже идут на Париж, он непрерывно и довольно бесцельно должен мотаться взад и вперед между Римом, Флоренцией и Неаполем, между Генуей и Луккой и тратить время и силы на неразрешимую задачу. Даже сюда неудержимо продвигаются австрийцы; после Иллирии ему приходится терять Италию, второе порученное ему государство. В результате, император Наполеон в начале марта не имеет ни одного государства, куда бы он мог отослать этого неудобного человека, да и кроме того в собственной Франции он уже не может ни приказывать, ни запрещать. Таким образом, 11 марта Жозеф Фуше, отстраненный благодаря гениальной предусмотрительности императора от всяких политических махинаций во Франции, возвращается после четырехмесячного отсутствия через Альпы на родину. А когда он, наконец, сбрасывает с себя цепи, оказывается, что он опоздал на четыре дня.

В Лионе Фуше узнает, что войска трех императоров движутся на Париж. Итак, через несколько дней падет Наполеон и будет образовано новое правительство. Само собой разумеется, что он снедаем честолюбием и горит нетерпением «d'avoir la main dans la pâte», присоединиться к общественному пирогу и урвать себе лучший кусок. Но прямой путь в Париж уже прегражден наступающими войсками, он должен ехать скучными окольными путями через Тулузу и Лимож; наконец, 8 апреля его почтовая карета въезжает в Париж. С первого взгляда он понял, что приехал слишком поздно. А кто опаздывает, тот виноват. Наполеон сумел отплатить ему за все козни и шутки, предусмотрительно удалив его от дел на то время, когда можно было ловить рыбу в мутной воде. Теперь Париж уже сдался, Наполеон смещен, королем избран Людовик XVIII, и образовано в полном составе новое правительство с Талейраном во главе. Этот проклятый хромой был своевременно на месте и быстрее переменил фронт, чем это удалось сделать Фуше. Уже русский царь живет в доме Талейрана, новый король осыпает его знаками своего доверия, все министерские посты роздал он согласно собственным соображениям и простер свою низость так далеко, что не оставил ни одного для герцога Отрантского, который между тем бессмысленно и беспечно управлял Иллирией и занимался дипломатией в Италии. Никто его не ждал, никто им не интересуется, никто не хочет знать его, никто не ищет у него совета и помощи. И снова Фуше, как это часто случалось в его жизни, конченный человек.

Долго не верится ему, что все так равнодушно к его падению, его, великого противника Наполеона. Он явно и тайно предлагает свои услуги; его встречают в передней Талейрана, у брата короля, у английского посланника, на заседаниях сената, повсюду. Но никто не обращает на него внимания. Он пишет письма, в том числе Наполеону, советуя ему отправиться в Америку, и одновременно посылает копию этого письма Людовику XVIII, чтобы выслужиться у него. Однако он не получает ответа. Он подает просьбы министрам о достойном его назначении, — его принимают вежливо, но не дают ходу. Он старается выдвинуться при помощи женщин, но все

напрасно, — он совершил самую непростительную ошибку в политике: он прибыл слишком поздно. Все места уже заняты, и никто из сановников не желает добровольно встать, чтобы любезно уступить свое место герцогу Отрантскому. Честолюбцу не остается ничего больше, как вновь уложить свои чемоданы и отправиться в свой замок Ферьер. Со смертью его жены у него остается одна помощница: время. До сих пор оно всегда ему помогало, оно ему поможет и на этот раз.

И в самом деле, оно ему и на этот раз помогает. Фуше скоро начинает чувствовать, что в воздухе опять пахнет порохом. Человек, имеющий тонкий слух, может слышать, даже будучи в Ферьере, как скрипит и трещит трон. Новый повелитель, Людовик XVIII, совершает ошибку за ошибкой. Ему угодно игнорировать революцию и забывать, что после двадцати лет гражданского равенства Франция не захочет вновь гнуть спину перед двадцатью дворянскими родами. Он недооценивает всей опасности, которую представляет преторианская книга генералов и офицеров, переведенная на половинное жалованье, недобвольная и ворчащая на низкую скаредность огуречного короля. Да, если бы вернулся Наполеон, тогда началась бы опять хорошая, отличная война. Тогда можно было бы опять отправиться в поход, грабить земли, делать карьеру и быстро захватить поводья в свои руки! Уже наблюдаются подозрительные сношения между отдельными гарнизонами, в армии подготавливается заговор, и Фуше, который никогда и ни при каких обстоятельствах не терял окончательно связи со своим детищем — полицией, прислушивается и узнает нечто такое, что наводит его на размышления. Он спокойно усмехается: да, добрый король узнал бы интересные вещи, если бы он сделал герцога Отрантского министром полиции. Но к чему предупреждать этих придворных льстецов? До сих пор только перевороты возвышали Фуше, только менявший направление ветер. Поэтому он спокоен, замкнут, неподвижен; он медленно и глубоко дышит, как борец перед боем.

5 марта 1815 года примчался в Тюильри гонец с поразительной новостью: Наполеон покинул Эльбу и высадился с 600 человек 1 марта в Фрежюс. Королевские придворные выслушивают новость с улыбкой презрения.

Они ведь всегда говорили, что этот Наполеон Бонапарте, которого так превозносили, не в своем уме. Parbleu, ведь это смешно! — с 600 человек этот глупец хочет сражаться с королем, за которым стоят целая армия и вся Европа! Нечего волноваться и беспокоиться, — кучкой жандармов можно будет укротить этого жалкого авантюриста. Маршал Нэй, старый боевой товарищ Наполеона, получает приказ схватить его. Хвастливо обещает он королю не только схватить нарушителя спокойствия, но даже «в железной клетке развозить его по стране». В течение первой недели Людовик XVIII и его приближенные беззаботно, ничего не подозревая, гуляют по Парижу, а «Moniteur» уверенно описывает всю эту историю в шутиливой форме. Но скоро распространяются неприятные известия. Наполеон нигде не встречает сопротивления, каждый высылаемый против него полк не уменьшает, а увеличивает его крохотную армию, а тот самый маршал Нэй, который обещал развозить его в железной клетке, переходит с развернутыми знаменами на сторону своего бывшего повелителя. Наполеон уже в Гренобле, уже в Лионе, — еще неделя, и его пророчество исполнится: императорские орлы будут снова развеяться на башнях собора Нотр-Дам.

Королевским двором овладевает паника. Что делать? Какие преграды противопоставить этой лавине? Слишком поздно сознают король и его графские и княжеские советники, какое это было безумие — чуждаться народа и стараться забывать, что между 1792 и 1815 годами произошло во Франции нечто вроде революции. Надо принять меры к тому, чтобы немедленно же приобрести любовь народа! Каким-нибудь образом показать этому глупому народу, что его действительно любят, что уважают его желания и права; надобно немедленно править по-республикански, по-демократически! Всегда, когда уже слишком поздно, короли и императоры торопятся выказать себя истыми демократами. Но как приобрести любовь республиканцев? Очень просто: одного из них пригласить в министерство, какого-нибудь настоящего радикала, который тотчас же наденет на белые лилии красные украшения! Но где его найти? Тогда внезапно вспоминают о некоем Жозефе Фуше, который несколько недель тому

назад являлся во все приемные и засыпал своими предложениями короля и его министров. Да, это и есть нужный человек, единственный, которого можно использовать всегда и для всяких дел. Поскорей же вытащить его из забвения! Всегда, когда какое-нибудь правительство испытывает затруднения, будь это директория, консульство, империя или королевство, всегда, когда нужен настоящий посредник, способный сгладить отношения, навести порядок, обращаются к человеку с красным знаменем, к самому ненадежному по своему характеру человеку, но весьма надежному дипломату, к Жозефу Фуше.

Герцог Отрантский имеет то удовлетворение, что те самые графы и князья, которые еще совсем недавно холодно отклоняли его услуги и поворачивались к нему спиной, теперь обращаются к нему с почтительной настойчивостью, предлагают министерский портфель, даже, можно сказать, желают втиснуть его ему в руки. Но старый министр полиции слишком хорошо понимает действительное политическое положение и не желает теперь, в решающий час, компрометировать себя ради Бурбонов. Он чувствует, что агония уже наступила, если его так настоятельно приглашают в качестве врача. Поэтому он вежливо отклоняет предложение под различными предлогами, давая понять, что следовало бы к нему обратиться раньше. Но чем ближе продвигаются войска Наполеона, тем быстрее исчезает заносчивость при королевском дворе. Все настойчивее убеждают и упрощают Фуше взять на себя управление, даже собственный брат Людовика XVIII приглашает его на тайное совещание. Но на этот раз Фуше сохраняет твердость, не из убеждения, а оттого, что его мало воодушевляет гнилое дело Бурбонов, и он отлично чувствует себя, качаясь на качелях между Людовиком XVIII и Наполеоном. Теперь уже слишком поздно, успокаивает он брата короля; пусть только сам король укроется в безопасном месте, а авантюра Наполеона недолговечна, и он со своей стороны обещает сделать все, чтобы помешать императору. Пусть только доверятся ему. Таким образом он заручается расположением Бурбонов и может, в случае победы короля, выдавать себя за их приверженца. С другой стороны, если победит Наполеон, он может гордо ссылаться на то, что отклонил предложение

Бурбонов. Слишком часто применял он — испытанную систему двойного страхования и не отказывается от нее и на этот раз: он будет считаться верным слугой двух господ, императора и короля.

Но на этот раз дело принимает еще более веселый оборот: как и всегда в решительные моменты жизни Фуше, трагическая сцена превращается в комическую. Бурбоны за это время кое-чему уже научились у Наполеона и знают, что в опасные минуты нельзя оставлять у себя за спиной такого человека, как Фуше. За три дня до отъезда короля, в то время, когда Наполеон уже близко от Парижа, полиция получает приказание арестовать Фуше и выслать из Парижа, как подозрительного человека, отказывающегося принять министерский портфель.

Министром полиции, которому приходится выполнять это неприятное поручение, был тогда — история любит подготавливать неожиданные эффекты — Бурьенн, интимнейший друг юности Наполеона, его товарищ по военной школе, его спутник в Елиште, долгодетный секретарь, знавший всех его приближенных и прекрасно знавший, конечно, Фуше. Он несколько испуган, когда король дает ему поручение арестовать герцога Отрантского. Благо-разумно ли это? позволяет он себе заметить. Король настойчиво подтверждает свое приказание. Бурьенн качает головой: это не так-то легко исполнить. Фуше стреляный воробей, его не поймашь просто силком среди бела дня; для уловления такой крупной дичи нужно больше времени и нужна исключительная ловкость. Но ничего не поделаешь, он отдает приказание. Действительно, 16 марта 1815 г. в 11 часов утра полицейские окружают на улице экипаж герцога Отрантского и объявляют его, согласно приказу Бурьенна, арестованным. Фуше, никогда не терпевший хладнокровия, презрительно улыбается, говоря: «Нельзя арестовать посреди улицы бывшего сенатора». И прежде чем агенты, в течение долгого времени его подчиненные, успели опомниться, он велел кучеру гнать быстрей, и вот карета уже катится по направлению к его квартире. Полицейские стоят смущенные с открытыми ртами посреди улицы и глотают пыль от отъезжающего экипажа. Бурьенн был прав: не так легко поймать чело-

века, который сумел уйти целым и невредимым от Робеспьера, Конвента и Наполеона.

Когда одураченные полицейские докладывают Бурienну, что Фуше от них ускользнул, министр полиции решает принять строгие меры: речь идет теперь об его авторитете; он не может допустить с собой подобных шуток. Он немедленно приказывает окружить со всех сторон дом на улице Черутти и охранять ворота. Вооруженный отряд подымается по лестнице, чтобы поймать беглеца. Но Фуше приготовил для них другую шутку, одну из тех великолепных и единственных в своем роде уловок, которые ему почти всегда удавались именно в самых трудных, напряженных ситуациях. Неоднократно было замечено, что в минуты опасности у него являлось безумное желание шутить и вводить людей в заблуждение. Продувной мистификатор вежливо встречает чиновников, которые хотят арестовать его, и рассматривает приказ об аресте. Да, он правильный. Разумеется, он не думает противиться приказу его величества короля. Он просит чиновников посидеть здесь в салоне, пока он не отдаст несколько мелких распоряжений, а затем немедленно последует за ними. Фуше говорит это самым всжливым тоном и направляется в соседнюю комнату. Чиновники почтительно ждут, пока он не кончит своего туалета, — нельзя же, в самом деле, схватить сенатора, бывшего министра и сановника, как ворюжку, за шиворот и наложить на него ручные кандалы. Они почтительно ожидают некоторое время, но наконец им кажется, что оно длится подозрительно долго. Так как он все еще не возвращается, чиновники идут в соседнюю комнату и здесь открывают, — какая комическая сцена в такое тревожное время, — что Фуше от них удрал. Совсем как в кино, тогда еще не существовавшем, пятидесятишестилетний старик приставил в саду лестницу к стене и, пока полицейские почтительно дожидались его в салоне, с удивительной для его возраста ловкостью, просто спустился по ней в соседний сад королевы Гортензии, а оттуда благополучно скрылся. Вечером весь Париж смеется над ловкой шуткой. Конечно, долго это не может продолжаться, — герцог Отрантский слишком известен и не может окончательно скрыться. Но Фуше и на этот раз правильно рассчитал. Ему важно было выиграть несколько

часов, потому что король и его приближенные должны теперь подумать, как бы самим спастись от приближающейся кавалерии Наполеона. Поспешно укладывают чемоданы в Тюильри, и король добился своим суровым приказом лишь того, что Фуше имеет публичное доказательство своей никогда не существовавшей преданности Наполеону, в которую сам император, без сомнения, не верит. Но когда он слышит об удавшемся трюке этого политического акробата, то, смеясь и против воли удивляясь, говорит: «Il est décidément plus malin, qu'eux tous» («Он, конечно, самый продувной из них всех»).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОСЛЕДНЯЯ БОРЬБА С НАПОЛЕОНОМ

1815 — «СТО ДНЕЙ»

В полночь 19 марта 1815 г. темно и безлюдно на громадной площади; двенадцать карет въезжают во двор Тюильри. Открывается потайная дверь, из нее выходит лакей, держа в поднятой руке факел, и за ним с трудом тащится, опираясь на руки двух верных дворян, тучный человек с астматическим дыханием — Людовик XVIII. Всех охватывает жалость при взгляде на немощного короля, только что вернувшегося после пятнадцатилетнего изгнания и теперь снова вынужденного темной ночью бежать из своей страны. Большинство присутствующих преклоняют колена, когда сажают в карету этого старика, потерявшего в своей дряхлости последние признаки величия и вызывающего сострадание трагичностью своей судьбы. Лошади двинулись, остальные кареты последовали за первой, еще несколько минут слышен по твердому щебню топот лошадей сопровождающей его стражи. И снова громадное здание погрузилось в тишину до утра — до утра 20 марта, первого из ста дней вернувшегося с Эльбы императора Наполеона.

Прежде всего появляется любопытство. Дрожащими сладострастными ноздрями оно обнюхивает дворец, чтобы узнать, спаслась ли испугнутая королевская дичь от императора: купцы, бездельники, фланеры. Одни со страхом, другие с радостью — каждый по темпераменту и убеждениям — нашептывают друг другу новости. К десяти часам стекаются густые толпы. И так как лишь масса при-

даст мужество отдельным людям, то начинают раздаваться первые отчетливые возгласы: «Vive l'Empereur» и «A bas le Roi!»¹ Внезапно приближается кавалерия, офицеры, получавшие в дни королевства половинное жалование. Они чувствуют, что вместе с императором возвращаются война, работа, полный оклад, отличия, производства; с шумными возгласами радости они под командой Эксельмана беспрепятственно занимают Тюильри, и так как переход из рук в руки совершается спокойно, бескровно, то бумаги на бирже поднимаются. В полдень на старинном королевском замке водружен без единого выстрела трехцветный флаг.

Уже появляются сотни любителей наживы, «верных слуг» императорского двора, — придворные дамы, прислуга, столычники, повара, старые государственные советники и церемониймейстеры, все, кто лишился работы и заработка под властью белой лилии, все новое дворянство, которое Наполеон извлек из обломков революции и которому дал придворные чины. Все в парадных костюмах, генералы, офицеры, дамы: снова сверкают бриллианты, сабли и ордена. Покои открываются и приготавливаются к приему нового повелителя; поспешно убираются королевские эмблемы — на шелку кресел опять сияет вместо королевских лилий наполеоновская пчела. Каждый торопится быть во-время на месте, быть сразу отмеченным в качестве «верноподданного». Тем временем наступают вечер. Как для бала или большого приема зажигают ливрейные лакеи канделябры и свечи; далеко, до самой триумфальной арки, виден свет из окон — снова императорского—дворца, привлекающий громадные толпы любопытных в сады Тюильри.

Наконец, в девять часов вечера, появляется мчащаяся галопом карета; справа, слева, спереди, сзади ее не то защищают, не то сопровождают всадники самых разнообразных чинов, рангов, восторженно размахивающие саблями (они их скоро пустят в ход против европейских армий). Из густой толпы раздаются взрывы возгласов: «Vive l'Empereur!», отдаваясь в просторном четырехугольнике дребезжащих окон. Единой бешеной волной приборя

¹ «Да здравствует император» и «Долой короля!»

ударяется толпа о карету; солдаты вынуждены, обнажив сабли, защищать императора от угрожающих его жизни выражений восторга. Они поднимают его на руки и благоговейно несут святую добычу, великого бога войны, сквозь неистовствующую толпу вверх по лестнице, в старый дворец. На плечах своих солдат, с закрытыми от избытка счастья глазами, со странной улыбкой лунатика на устах, подымается на императорский трон Франции изгнанник, двадцать дней тому назад покинувший Эльбу. Это последний триумф Наполеона Бонапарте. В последний раз он переживает такой необычайный подъем, такой сказочный перелет от мрака изгнания к высочайшим вершинам могущества. В последний раз раздается в ушах, подобно шуму волнующегося моря, любимый возглас «император». Минуту, десять минут наслаждается он, с закрытыми глазами и сматенной душой, этим пьянящим хмелем власти. Затем он велит закрыть двери дворца, велит офицерам удалиться и призвать министров: работа кипит. Он должен быть достоин подарка судьбы.

Густая толпа, наполнившая зал, ждет выхода вернувшегося императора. Но первый же взгляд приносит ему разочарование: ему остались верны не самые лучшие, не самые умные, не самые значительные люди. Он видит придворных и приспешников, жадно ожидающих мест и событий — много мундиров и мало умов. Не явились без объяснений причины почти все великие маршалы, подлинные спутники его полета; они остались в своих замках или перешли к королю, причислив себя, в лучшем случае, к нейтральным, если не к его врагам. Из министров отсутствует самый умный, самый ловкий — Талейран, из ново-созданных королей — его родные братья и сестры, и даже жена и сын. Среди собравшихся он видит много просителей и мало достойных; ликующие возгласы тысячной толпы еще волнуют его кровь, но сквозь триумф его ясный, дальновидный ум уже трепещет от предчувствия опасности. Вдруг из передних зал доносится шопот, все возрастающий шопот удивления и радости, и люди в мундирах и расшитых фраках почтительно отступают, образуя проход. Подъехала карета, правда с опозданием, и из нее выходит худая, бесцветная, хорошо известная всем фигура герцога Отрантского, -- он явился, но ничего не тре-

бует, он предлагает свои услуги, но не так назойливо, как эти мелкие придворные. Медленно, равнодушно, с полужакрытыми, непроницаемыми глазами, шествует он, не отвечая на приветствия, по образовавшемуся проходу, и именно это, всем хорошо известное, естественное спокойствие вызывает восторг. «Дорогу герцогу Отрантскому!» выкликают лакеи. Люди, знающие его ближе, изменяют этот возглас: «Дорогу Фуше. Вот человек, который большего всего теперь нужен императору!» Он избран, назначен, выдвинут общественным мнением, прежде чем император принял решение. Он является не просителем, а властью, величественный и важный; и действительно, Наполеон не заставляет его ждать, тотчас же подзывает он старейшего своего министра, вернейшего своего врага. Об их беседе известно так же мало, как о беседе, происходившей тогда, когда Фуше помог бежавшему из Египта генералу стать консулом и заключил с ним союз неверной верности. Но когда час спустя Фуше вышел из покоев Наполеона, он был снова его министром, — в третий раз министром полиции.

Еще не высохла типографская краска на листах «Moniteur», извещавшего о назначении герцога Отрантского министром Наполеона, как уже оба, император и министр, тайне жалеют, что связались друг с другом. Фуше разочарован: он ждал большего. Уже давно холодное пламя его честолюбия не удовлетворяется невзрачной должностью министра полиции. Назначение, представлявшее собой в 1796 году спасение и отличие для изголодавшегося, опального бывшего якобинца Жозефа Фуше, теперь, в 1815 году, представляется миллионеру, популярному герцогу Отрантскому, жалкой синекурой. Его самомнение росло по мере успехов; его увлекает только большая мировая игра, волнующий азарт европейской дипломатии, где игорным столом является Европа, а ставкой — судьба всех стран. Десять лет ему загоразивал путь единственный равноценный ему дипломат — Талейран: теперь, когда его опаснейший соперник делает тройную ставку против Наполеона, собирая в Вене штыки всей Европы для борьбы с императором, Фуше считает себя в праве рассчитывать на должность министра иностранных дел как единственный способный занять его человек. Но Наполеон, не доверяя

ему, и не без оснований, отказывается поручить этот самый важный портфель ловким, слишком ловким и потому ненадежным рукам. Только министерство полиции сует он Фуше, и то против желанья; он знает — чтобы обезвредить его опасное честолюбие, надо бросить ему хоть крохи власти. Но и в пределах этого скромного ведомства Наполеон сажает шпиона, который должен следить за ненадежным министром, а злейшего врага Фуше, герцога Ровиго, назначает шефом жандармерии. И вот в первый день их возобновленного союза возобновляется старая игра: Наполеон назначает свою собственную полицию для слежки за министром полиции. А Фуше попрежнему, за спиной Наполеона, рядом с ним ведет свою собственную политику. Оба обманывают друг друга, не пряча карт: опять должно решиться, кто одержит верх: более сильный или более ловкий, пылкость или хладнокровие.

Неохотно Фуше принимает управление министерством. Однако, он его все-таки принимает. У этого великодушного и страстного игрока есть трагический дефект: он не может оставаться в стороне, не может ни одного часа быть только зрителем мировой игры. Он беспрерывно должен держать в руках карты, должен играть, тасовать, передергивать, блефовать, крыть карты противника и козырять. Он должен всегда сидеть за столом — все равно за каким, за королевским, императорским или республиканским: лишь бы участвовать в игре, лишь бы «avoir la main dans la pâte», быть поближе к пирогу, все равно где, лишь бы быть министром, правым, левым, императорским, королевским, лишь бы грызть кость могущества. У него не хватит ни нравственной, ни этической силы, ни гордости, ни даже нервной выдержки, чтобы отказаться от брошенных ему объедков власти. Он всегда согласится принять должность, которую ему дают; ни человек, ни дело не имеют для него значения, — весь интерес в игре.

Неохотно и Наполеон принимает Фуше обратно на службу. Он знает этого пробирающегося темными путями человека десять лет и уверен, что он никому не служит, а только отдается своей страсти к азарту. Он знает, что этот человек бросит его, как труп дохлой кошки, покинет его в самый опасный момент, так же, как покинул и предал жирондистов, террористов, Робеспьера и термидо-

рианцев, так же, как своего спасителя Барраса, директорию, республику, консульство. Однако, он ему нужен, или ему кажется, что он нужен: так же, как Наполеон пленил Фуше своей гениальностью, так Фуше пленил Наполеона своими способностями. Отвергнуть его было бы опасно для жизни; сделать Фуше врагом в такой тревожный момент не решается даже Наполеон. Он избирает поэтому меньшее зло, — занять его работой, при помощи прав и обязанностей не дать быть неверным слугой. «Только от предателей я слышал истину», говорит впоследствии на острове св. Елены побежденный император, вспоминая Фуше. Даже в минуты крайнего озлобления не тухнет огонек уважения к необыкновенным способностям этого дьявольского человека, ибо гений нетерпимее всего к посредственности; и Наполеон, заведомо обманутый Фуше, вместе с тем сознает, что тот понимал его. Как умирающий от жажды протягивает руку за отравленной водой, так и Наполеон предпочитает услуги умного и ненадежного министра услугам министра верного и недалекого. Десять лет озлобленной вражды подчас таинственнее связывают людей, чем рядовая дружба.

Больше десяти лет служил Фуше Наполеону — властелину, гению, десять лет он был в числе покоренных Наполеоном. В 1815 году, в последней борьбе, Наполеон с самого начала оказывается слабейшим. Еще раз, в последний раз, он испытал опьянение славой; неожиданно, словно на орлиных крыльях, судьба перенесла его с чужого острова на императорский трон. Посланные против него полки, в сотни раз превышающие численностью армию Наполеона, бросают оружие, увидев его плащ. Начав свой поход с шестью сотнями людей, изгнанник в двадцать дней добирается до Парижа, предводительствуя уже целой армией, и под гром ликований снова ложится в постель королей Франции. Но какое жестокое пробуждение в последующие дни! Как быстро бледнеет фантастический сон под наплывом разочарований, принесенных действительностью! Он снова император, но лишь по имени, ибо мир, некогда поработанный и ползавший у его ног, не признает больше своего господина. Он пишет письма и прокламации, страстные обещания мира; их читают и улыбаются, пожимая плечами, не удостоивая их ответом. По-

сланцы к императору, королям и великим князьям задерживаются на границах, как контрабандисты, и принуждены бездействовать. Одно единственное письмо окольными путями доходит до Вены, — Меттерних бросает его нераспечатанным на стол в зале заседаний. Редуют ряды его соратников, старые друзья и товарищи рассеялись по всем направлениям; Бертье, Бурьен, Мюрат, Евгений Богарне, Бернадот, Ожеро, Талейран сидят и восседают в своих имениях или находятся в свите его врагов. Тщетно он пытается обмануть себя и других; он велит великолепно обставить покои императрицы и римского короля, словно они собираются вернуться на следующий день; в действительности же Мария-Луиза флиртует со своим чичисбеем Нейпертом, а его сын играет в Шёнбрунне австрийскими оловянными солдатиками, под строгим надзором императора Франца. Даже собственная страна не признает трехцветного знамени. Восстания на юге, на западе: крестьяне устали от постоянного набора рекрутов и стреляют в жандармов, собирающихся забрать у них лошадей для пушек. На улицах расклеены издевательские плакаты, пародирующие декреты Наполеона: «Пункт I. Ежегодно мне должны приносить триста тысяч жертв. Пункт II. Если понадобится, я повышу эту цифру до трех миллионов. Пункт III. Все эти жертвы посылаются почтой на главную бойню». Нет сомнения, все стремятся к миру, и благоразумные люди готовы послать к дьяволу нежеланного властелина, если он не гарантирует мира, и — как трагична его судьба — теперь, когда воинственный император впервые действительно хочет покоя, при условии, что мир оставит ему власть, теперь ему никто не верит. Честные буржуа, трепещущие за свою ренту, не разделяют воодушевления офицеров, получающих половинный оклад, и профессиональных вояк, для которых мир является застоном в делах, и едва Наполеон — вынужденный к этому — дарует им избирательные права, как они дают ему пощечину, избирая именно тех, кого он пятнадцать лет преследовал и держал в тени — революционеров 1792 года Лафайета и Ланжине. Нигде нет союзников, в самой Франции мало приверженцев, он едва находит человека, с которым может посоветоваться в более интимном кругу. Недовольный и смущенный блуждает император по пу-

стому дворцу. Нервы и сила сопротивления изменяют ему: то, теряя самообладание, он повышает голос, то впадает в тупую летаргию. Часто ложится он спать среди белого дня: не физическая, а душевная усталость, словно свинцовою тяжестью, приковывает его на целые часы к постели. Однажды Карно застаёт его в слезах перед портретом римского короля, его сына; окружающие слышат жалобы на закат его счастливой звезды. Внутренний компас указывает, что зенит успеха достигнут, и беспокойно колеблется стрелка его воли от полюса к полюсу. Против желания, не надеясь на успех, готовый к любым соглашениям, вступает наконец избалованный победами император в войну. Но дух победы не витает больше над покорно поникшим человеком.

Таков Наполеон в 1815 году, — мнимый властелин, мнимый император, кругом в долгу у судьбы, облеченный в призрачный плащ могущества. Бок-о-бок стоящий с ним Фуше достиг тогда, наоборот, расцвета своих сил. Ум закаленный, вооруженный коварством, сдается не так быстро, как ум, пребывающий в вечном круговороте страстей. Никогда Фуше не был так ловок, так пронзлив, так изворотлив и смел, как в эти сто дней, в период воссоздания и падения империи; не к Наполеону, а к нему обращены полные ожидания взоры, от него ждут спасения. Все партии (необычайное явление) оказывают этому министру больше доверия, чем сам император. Людовик XVIII, республиканцы, роялисты, Лондон, Вена, — все видят в Фуше единственного человека, с которым можно действительно вести переговоры, и его расчетливый холодный разум внушает усталому, жаждущему мира человечеству больше доверия, чем вспышка мятущегося гения Наполеона. Все те, кто отказывает «генералу Бонапарту» в титуле императора, все они с уважением относятся к личному кредиту Фуше. Те самые границы, на которых беспощадно задерживаются и арестовываются государственные агенты императорской Франции, словно по мановению волшебного жезла открываются для тайных агентов герцога Отрантского. Веллингтон, Меттерних, Талейран, герцог Орлеанский, царь и короли, все они охотно и с величайшей вежливостью принимают его эмиссаров, и тот, кто до сих пор всех обманывал, вдруг становится единственным честным

игроком в мировой игре. Достаточно ему двинуть пальцем, чтобы вершилась его воля. Вандея восстала, предстоит кровавая борьба, — но достаточно Фуше отправить гонца, и он одними переговорами предотвращает гражданскую войну. «Для чего, — говорит он с откровенной расчетливостью, — проливать сейчас французскую кровь? Еще несколько месяцев — и император либо победит, либо погибнет; зачем бороться за то, что, вероятно, без борьбы станет вашим достоянием? Сложите оружие и ждите!» И тотчас же роялистские генералы, убежденные этими трезвыми, отнюдь не сентиментальными доводами, заключают желанный договор. Все — за рубежом и внутри страны — прежде всего обращаются к Фуше, ни одно парламентское решение не принимается помимо него, — беспомощно смотрит Наполеон, как слуга парализует его руку везде, где ему хотелось бы нанести удар, как он направляет против него выборы и с помощью республикански настроенного парламента ставит преграды его деспотической воле. Тщетно хочет Наполеон освободиться от него; миновало время, когда от герцога Отрантского, как от неудобного слуги, можно было самодержавно отделаться несколькими миллионами, дав ему отставку; теперь министр может скорее столкнуться с трона императора, чем император герцога Отрантского с его министерского кресла.

Эти недели своевольной и вместе с тем обдуманной, двойственной и все же ясной политики составляют самые совершенные страницы истории мировой дипломатии. Даже личный противник, идеалистически настроенный Ламартин принужден воздать дань уважения макиавеллистическому гению Фуше. «Нужно признать, — пишет он, — что Фуше проявил редкую смелость и стойкую неустрашимость в своей роли. Он ежедневно рисковал головой из-за своих козней, он мог бы немедленно пасть жертвой гордости или гнева, пробудившегося в груди Наполеона. Из всех, уцелевших со времени Конвента, он один сохранил и не умалил свою отвагу. Зажатый благодаря своей смелой игре в жестокие тиски между нарождающейся тиранией и воскресающей свободой, с одной стороны, и между Наполеоном, приносящим отечество в жертву своим личным интересам, и Францией, не желающей идти на гибель ради одного человека, с другой стороны, Фуше вселял

страх в императора, льстил республиканцам, успокаивал Францию, подмигивал Европе, улыбался Людовику XVIII, вел переговоры с дворами, обменивался жестами с господином Талейраном и поддерживал своим поведением равновесие; это была необычайно трудная, столь же низкая, сколь и возвышенная, но во всяком случае грандиозная роль, которой история поныне не оказала должного внимания. Роль, не отличающаяся благородством души, но не лишенная любви к отечеству и героизма, в которой поданный поднялся до положения повелителя, министр превзошел властелина, в которой Фуше стал посредником между империей, реставрацией и свободой, посредником — благодаря своему двуязычию. История, осуждая Фуше, должна будет признать его смелость в эпоху ста дней, превосходное ведение переговоров с партиями, величие его интриг, которые должны были бы поставить его в ряд с самыми выдающимися государственными деятелями века, если бы существовали подлинные государственные деятели, лишенные характера и добродетелей».

Так пронизательно судит Ламартин, поэт и государственный деятель, работавший в эпоху, непосредственно примыкавшую к этим событиям. Легенда о Наполеоне, сотворенная пятьдесят лет спустя, когда тела десяти миллионов убитых уже обратились в прах, инвалиды погребены, раны, нанесенные Европе, давно зажили, относится к Фуше, конечно, несправедливее и строже. Каждая героическая легенда представляет собой что-то вроде духовного фона для истории; она, как каждый фон, очень легко оперирует всем тем, в чем ей не надо принимать участия: бесчисленными человеческими жертвами, безудержным увлечением, даже безумствами героя, бессмысленной верностью ему. Наполеоновская легенда, с ее техникой черных и белых пятен, знает лишь «верных» и «предателей» своего героя; она не делает разницы между Наполеоном-консулом, который благоразумием и энергией водворил мир и порядок в своей стране, и позднейшим безумцем Наполеоном-кесарем, для которого война стала манией, который, ради удовлетворения своей жажды власти, беспощадно втягивал мир в кровопролитные авантюры и сказал Меттерниху слова, достойные Тамерлана: «Такому человеку, как я, наплевать на миллион жизней». Каждый

благоразумный француз, пытавшийся умеренностью оказать сопротивление этому безумному честолюбию одержимого демоном императора, слепо бросающегося навстречу своей гибели, каждый, кто не цеплялся раболепно и бесстыдно, забыв обо всем на свете, за его Джаггернаутову колесницу¹ — Талейран, Бурьени, Миурат, — всех их легенда с истинно дантовской жестокостью бросает в ад, и Фуше в ее глазах является предателем среди предателей, *advocatus diaboli*.² В ее изображении Фуше в 1815 году снова вступил в министерство будто бы для того, чтобы приблизиться к императору и улучшить момент, когда нанести ему удар в спину, заранее продавшись Людовику XVIII и европейским державам. Утверждают, будто он уже 20 марта, при отъезде короля, велел передать монархистам: «Спасайте короля, уж я берусь спасти монархию», и, принимая министерский портфель, доверился своему Санчо Панса: «Мой главный долг — противодействовать всем планам императора; через три месяца я буду сильнее его, и если до тех пор он не прикажет расстрелять меня, я поставлю его на колени», — это предсказание датировано настолько точно, что кажется придуманным *a posteriori*.³

Предположить, что Фуше вступил в министерство, будучи приверженцем Людовика XVIII, как подкупленный им шпион, значило бы недооценить его, не понять его великолепного в своей психологической сложности и таинственного демонического характера. Не в том дело, что Фуше, абсолютный аморалист и макиавеллист, не был способен при случае совершить подобное — как и всякое вообще — предательство, нет, такая подлость была слишком проста, слишком мало привлекательна для сладострастного и отважного игрока. Просто обманывать одного человека хотя бы и Наполеона, — это не в его натуре: обма-

¹ Джаггернаут—индусское божество, одно из воплощений Вишну. Во время ежегодного праздника в честь его изображение вывозят на шестнадцатиколесной, роскошно убранной колеснице, которую тащат на длинном канате толпы богомольцев; нередко изуверы бросаются под колесницу и погибают, раздавленные ею.

² «Адвокат дьявола» — лицо, назначаемое католической церковью при канонизации святого, которое должно доказывать, что данный святой не достоин канонизации.

³ Впоследствии.

нывать всех — вот его единственное наслаждение, не хранить верности никому, каждого завлекать, играть одновременно заодно со всеми партиями и против всех партий, поступать не по предначертанному плану, а по интуиции, быть Протеем, богом превращений; воодушевить этого страстного дипломата может не роль Франца Моора или Ричарда III, прямолинейного интригана, а только двуличность, изумляющая даже его самого. Он любит препятствия ради препятствий, он искусственно создает их, удваивая, учетверяя свою роль; это не однократный, а многократный всесторонний прирожденный предатель. И действительно Наполеон, знавший его лучше всех, вспоминая о нем на острове св. Елены, высказывал глубокую мысль: «Я знал только одного действительно совершенного предателя: это был Фуше». Совершенный, не случайный предатель — гений предательства, вот кем он был; его предательство не столько политика, тактика, сколько его подлинная натура. И лучше всего его натуру можно понять, сравнив его с прославившимися во время войны двойными шпионами, передававшими чужим державам одни тайны с целью выведать у них другие, более ценные. При этой двусторонней передаче сведений они в конце концов сами перестают понимать, какой державе служат; оплачиваемые обеими сторонами и ни одной не служившие верой и правдой, преданные лишь игре, двуязычной игре перебегов с одной стороны на другую, сидя на двух стульях, они находятся во власти почти неуловимой, дьявольской услады. Лишь когда чаша весов окончательно перевешивает в одну сторону, страсть к игре уступает место благоразумию, которое озабочено получением барыша: лишь когда предпринята победа, Фуше определяет свою позицию, — так было в Конвенте, так было в эпоху директории, консульства и империи. Пока идет борьба, он не переходит ни на чью сторону; когда борьба кончается, он всегда на стороне победителя. Если бы Груши пришел вовремя, Фуше был бы по крайней мере в продолжение некоторого времени преданным министром Наполеона. Так как Наполеон проиграл сражение, Фуше не мешает его падению и отдает от него. И не оправдываясь, он с обычным цинизмом высказался по поводу своей позиции в период ста дней: «Не я предал Наполеона, а Ватерлоо».

Конечно, не трудно себе представить, что Наполеона приводит в бешенство эта двойная игра его министра. Он знает, что теперь дело идет об его жизни. В течение десяти с лишним лет каждое утро этот худощавый, сухопарый человек с бесцветным и бескровным лицом над темным расшитым пальмовыми ветвями сюртуком входит в кабинет Наполеона, делает доклад, — великолепный, ясный, неопровержимый доклад о положении дел. Никто не охватывает с такой полнотой события, никто не может яснее изобразить ход мировой политики, во все проникнуть, все прозреть. И вместе с тем Наполеон чувствует, что Фуше не говорит ему всего, что он знает. Ему известно: к герцогу Отрантскому являются гонимые от государств, утром, в полдень и ночью принимает его собственный министр за запертой на ключ дверью подозрительных роялистских агентов, ведет переговоры, заводит сношения, о которых он ему, императору, не докладывает. Делается ли это, как хочет заставить его поверить Фуше, действительно ради информации, или завязываются тайные интриги? Отвратительна эта неуверенность для затравленного императора, окруженного сотней врагов! Тщетно он то дружелюбно расспрашивает Фуше, то осыпает его оскорбительными выражениями: попрежнему непоколебимо сжаты его тонкие уста, ничего не выражают стеклянные глаза. К Фуше не подойдешь близко, у него не вырвешь тайны. И Наполеон лихорадочно обсуждает: как его поймать? Как узнать, предаст ли его человек, который может заглянуть во все карты мировой игры, или он предаст его врагов? Как словить неуловимого, как проникнуть в непроницаемого?

Наконец — спасение! — след, намек, почти доказательство. В апреле тайная полиция, которой император специально поручил следить за его министром полиции, узнает, что из Вены прибыл неизвестный, под видом служащего венской банкирской конторы, и прямо отправился к герцогу Отрантскому. Посланного выслеживают, арестовывают, — конечно, без ведома министра полиции Фуше, — приводят в один из елисейских павильонов к Наполеону. Там ему угрожают немедленным расстрелом и продолжают его запугивать, пока он наконец не сознается, что привез для Фуше послание от Меттерниха,

написанное секретными чернилами с поручением организовать в Базеле совещание посредников. Наполеон в бешенстве: письма с такими предложениями от вражеского министра к министру его собственному, это равнозначно государственной измене. Первая его мысль естественна: сейчас же арестовать неверного слугу и опечатать его бумаги. Но приближенные отговаривают его, так как доказательства пока еще нет, и, зная неоднократно испытанную осторожность герцога Отрантского, можно быть уверенным, что в бумагах не найдется и следа его проделок. И император решает прежде всего испытать покорность Фуше. Он приглашает его к себе, говорит с непривычным притворством, перенятым от собственного министра, о создавшемся положении и спрашивается о возможности вступить в переговоры в Австрии. Фуше, не подозревая, что его посланец давно все выболтал, ни одним словом не упоминает о письме Меттерниха; притворяясь равнодушным, император его отпускает, совершенно убежденный в подлости своего министра. Но, чтобы его обличить окончательно, он — несмотря на свое возмущение — инсценирует тонко придуманную комедию со всеми кви-про-кво мольеровской пьесы. Через агента разузнали пароль для встречи с посредником Меттерниха. Император посылает доверенное лицо, которое должно выступить в роли посланного Фуше, — ему австрийский агент несомненно выдаст тайны, и, наконец, император узнает достоверно, предал ли его Фуше и в какой мере предал. В тот же вечер посланец Наполеона уезжает, через два дня Фуше будет обличен и пойман в собственный капкан.

Однако, как быстро ни протянешь руку за угрем или змеей, — поймать невооруженной рукой холоднокровное животное невозможно. Комедия, которую ставит император, имеет, как каждая настоящая пьеса, побочное действие, как бы двойное дно. Так же, как Наполеон держит тайную полицию за спиной Фуше, так Фуше имеет подкупленных писцов и тайных доносчиков за спиной Наполеона: его лазутчики работают не менее проворно, чем шпионы императора. В тот самый день, как агент Наполеона отправился на маскарад в Базель, в гостиницу «Трех королей», Фуше уже узнал о грозящей ему опасности, кто-то из «верноподданных» Наполеона донес ему об этой

комедии. И на другое утро, при своем обычном докладе, Фуше, которого хотели застать врасплох, сам поражает своего повелителя. Посреди разговора он, проводя рукой по лбу, с миной человека, вспоминающего еще об одной незначительной мелочи, сообщает: «Ах да, сир, за более важными делами я забыл вам сказать, что получил письмо от Меттерниха. Но его посланец не передал мне порошка, чтобы расшифровать послание, и я предполагал сначала, что это какая-то мистификация. Поэтому только сегодня могу вам об этом доложить».

Тут император не выдержал. «Вы предатель, Фуше! — восклицает он, — я должен был бы приказать вас повесить».

«Я не разделяю вашего мнения, ваше величество», хладнокровно отвечает невозмутимейший, спокойнейший министр.

Наполеон дрожит от гнева. При помощи этого преждевременного признания снова выскользнул из его рук этот Фра-Дьяволо. Агент, принесший ему через два дня сведения о переговорах в Базеле, сообщил мало определенного и много неприятного. Мало определенного: ибо из слов австрийского агента вытекает, что осторожный Фуше слишком хитер, чтобы явно связаться с врагами; он лишь вел за спиной своего повелителя свою излюбленную игру: сохранять за собой все возможности. Но и много неприятных вестей привез посланец: державы согласны на любое правительство, кроме одного, — правительства Наполеона Бонапарте. Яростно кусает император губы. Сила его кулака сломлена. Он хотел тайно поразить с тыла скрывающегося в тени врага, и в этой дуэли, из тьмы, ему самому нанесена смертельная рана.

Решительный момент, благодаря приемам Фуше, пропущен, Наполеон это знает: «Его предательство — как на ладони, — говорит он своим приближенным, — я жалею, что не выгнал его, прежде чем он мне сообщил о своей переписке с Меттернихом. Теперь момент упущен, и нет предлога. Он повсюду распространил бы, что я тиран, жертвующий всем во имя своей подозрительности». С совершенной пронизательностью сознает император свое поражение, но он продолжает бороться до последней минуты, в надежде, что удастся перетянуть двуликого на свою сто-

рону или заставить его наконец врасплох и погубить. Он натягивает все струны. Пускает в ход доверчивость, любезность, снисходительность и осторожность, но его воля беспомощно отскакивает от граней этого холодного превосходно обточенного камня: алмаз можно расколотить или выбросить, но не процизать. Наконец, истерзанный подозрениями император теряет терпение; Карно рассказывает о сцене, в которой драматически проявляется бессилие императора в борьбе со своим мучителем. «Вы меня предаете, герцог Отрантский, у меня есть доказательства, — выкрикивает Наполеон однажды на совете министров, обращаясь к невозмутимейшему герцогу, и, схватив нож из слоновой кости, лежавший на столе, кричит: — Возьмите этот нож и вонзите его в мою грудь. — это будет честнее того, что вы проделываете. Я мог бы расстрелять вас, и весь мир одобрил бы этот поступок. А если вы спросите, почему я этого не делаю, я отвечу, что слишком презираю вас, что на моих весах вы не весите и унции». Ясно, что его подозрительность перешла в бешенство, его страдания — в ненависть. Он никогда не забудет, что этот человек осмелился его так провоцировать, и Фуше это знает. Но он спокойно высчитывает скудные надежды императора на власть. «Через месяц с этим безумцем будет покончено», уверенно и презрительно говорит он своему другу. Поэтому он и не помышляет теперь о союзе; после этого решительного сражения один из них должен уйти с дороги: Наполеон или Фуше. Он знает (Наполеон объявил об этом), что первое известие о победе на поле сражения принесет ему увольнение, а, быть может, и приказ об аресте. И вот стрелки часов возвращаются на двадцать лет назад, к 1793 году, когда самый могущественный муж своей эпохи, Робеспьер, решительно заявил, что через две недели должна пасть чья-нибудь голова, его или Фуше. Но герцог Отрантский приобрел за это время самоуверенность. В сознании своего превосходства он напоминает другу, предостерегающему его от гнева Наполеона, былую угрозу и, улыбаясь, присовокупляет: «Но пала его голова».

18 июня внезапно загремели пушки перед Домом Инвалидов. Население Парижа восторженно встрепетало. За последние пятнадцать лет оно научилось узнавать этот металлический голос. Победа достигнута, успешно закон-

чено сражение, — полное поражение армии Блюхера и Веллингтона — как передает «Moniteur». Восторженные толпы народа наводняют бульвары, настроение, еще не устойчивое несколько дней тому назад, проявляется вдруг в выражении верноподданнических чувств императору и во всеобщем восторге. Только чувствительнейший термометр — рента — падает на четыре пункта, ибо каждая победа Наполеона обозначает продление войны. И лишь один человек, быть может, трепещет в глубине души от страха при этом медном звуке; это Фуше. Ему победа деспота может стоить жизни.

Но трагическая ирония: в тот же час, когда салютуют в Париже французские пушки, английские пушки давно уже разбили при Ватерлоо пехоту и гвардию, и в то время как столица, ничего не подозревая, устраивает иллюминацию, кони прусской кавалерии, подымая вихри пыли, гонят перед собой последние жалкие остатки бегущей армии.

Еще день длится упоение неподозревающего правды Парижа. Только двадцатого просачиваются в город страшные вести. Бледные, дрожащими губами нашептывают парижане друг другу тревожные слухи. В комнатах, на улице, на бирже, в казармах шепчутся и разговаривают люди о катастрофе, несмотря на упорное молчание газет. Все население внезапно оробевшей столицы говорит, колеблется, негодует, жалуется и надеется.

И только один действует: Фуше. Едва получив (конечно, раньше других) весть о Ватерлоо, он уже смотрит на Наполеона как на ненужный труп, который необходимо как можно скорее убрать. И он тотчас же берется за лопату, чтобы вырыть ему могилу. Немедленно пишет он герцогу Веллингтону, чтобы сразу стать в контакт с победителем; одновременно, с беспрецедентной психологической предусмотрительностью, он предупреждает депутатов, что Наполеон в первую очередь попытается всех их отправить домой. «Он вернется расшарившим и потребует немедленной диктатуры». Необходимо ему сейчас же подставить палки в колеса! К вечеру парламент уже подготовлен, совет министров восстановлен против императора, последняя возможность захватить снова власть выбита из рук Наполеона, — и все это прежде, чем он успел ступить

ногой в Париж. Повелитель часа теперь не Наполеон Бонапарт, а наконец, наконец, наконец — Жозеф Фуше.

Незадолго до зари, покрытая черной мантией ночи, как траурным покрывалом, плохонькая коляска (его собственную, Блюхер захватил вместе с императорскими ценностями, саблей и бумагами) проезжает через парижскую заставу в Елисейские поля. Тот, кто шесть дней тому назад в своем приказе по армии патетически писал: «Для каждого француза, обладающего мужеством, настал час победить или умереть», сам не победил и не умер, но за него при Ватерлоо и Линьи погибло еще шестьдесят тысяч человек. Теперь он поспешно вернулся домой как некогда из Египта, из России, чтобы спасти власть: он нарочно велел замедлить шаг лошадей, чтобы прибыть тайно, в темноте. И вместо того, чтобы прямо направиться в Тюильри, в свой императорский дворец, и предстать перед народными депутатами Франции, он спасает свои разбитые нервы в маленьком, отдаленном Елисейском дворце. Усталый, разбитый человек выходит из коляски, бормоча бессвязные спутанные слова, подыскивая запоздалые объяснения и извинения неизбежным событиям. Горячая ванна приводит его в себя; тогда он сзывает совет. Беспokoйно, колеблясь между гневом и состраданием, почтительно, но без внутреннего почтения, слушают они несвязные и лихорадочные речи побежденного императора, снова фантазирующего о стотысячной армии, которую он хочет лабрать, о реквизиции лошадей, высчитывающего им (прекрасно знающим, что и ста человек не выжать больше из страны), что в две недели он противопоставит союзным державам двухсоттысячное войско. Министры, среди них и Фуше, стоят с поникшими головами. Они знают, что эти лихорадочные речи — последние судороги грандиозной жажды власти, все еще не угасшей в этом гиганте. Он требует именно того, что предсказал Фуше: диктатуры, соединения всей военной и политической власти в одних, в его руках, — и он требует ее, быть может, только для того, чтобы министры ему в ней отказали, чтобы впоследствии, перед историей, можно было свалить на них вину, можно было сказать, что у него отняли последнюю возможность одержать победу (современность знает аналогичные случаи таких оборотов!).

Но все министры высказываются осторожно, каждый боится резкими словами причинить боль страдающему человеку, лихорадочно бредящему императору. Только Фуше незачем говорить. Он молчит, он давно сделал свое дело, он уже давно принял меры, чтобы отразить последнюю атаку Наполеона на власть. С объективным любопытством, с любопытством врача, наблюдающего последние отчаянные содрогания умирающего, заранее высчитавшего, когда остановится пульс, когда будет сломлено сопротивление, он без сожалений слушает эти тщетные судорожные речи: ни одного слова не сходит с его тонких бескровных уст. *Moribundus* — погивший, приговоренный к смерти, — какое значение могут иметь его речи, продиктованные отчаянием! Он знает, — пока император здесь опьяняется, стараясь опьянить и других навязчивыми фантазиями, в тысяче шагах отсюда, в Тюильри, собрание совета с немилосердной логикой вершит, наконец, беспрепятственно его — Фуше — волю и желание.

Он сам, правда, также как и 9 термидора и 21 июня, не появляется в собрании депутатов. Он — этого достаточно — в тени расставил свои батареи, составил план сражения, выбрал подходящую минуту для атаки и подходящего человека: трагического, почти гротескного противника Наполеона — Лафайета. Вернувшись четверть века тому назад героем американской освободительной войны, этот молодой дворянин, увенчанный, несмотря на свой возраст, славой в двух частях света, знаменосец революции, пионер новых идей, любимец своего народа, Лафайет познал рано, слишком рано все экстазы могущества. И потом, вдруг, из ничтожества, из спальни Барраса, явился маленький корсиканец, какой-то лейтенант в заплатанной шинели и стоптанных сапогах, и в течение двух лет завладел всем, что он построил и чему положил начало, похищая у него место и славу; подобные вещи не забываются. Рассерженный, обиженный дворянин остается в своем имении, в то время как корсиканец в расшитой мантии императора принимает поклонение европейских князей и вводит новый деспотизм, — более суровый, — деспотизм гения вместо былого деспотизма дворянства. Ни одного луча благоволения не бросает это восходящее солнце на отдаленное поместье; и когда маркиз Лафайет

в своем простом костюме приезжает в Париж, этот выскочка едва обращает на него внимание; расшитые золотом сюртуки генералов, мундиры новоиспеченных маршалов сверкают ярче, чем его уже покрывшаяся пылью слава. Лафайет забыт, никто за двадцать лет не называет его имени. Волосы его седеют, похудел и высох его мужественный стан, и никто не призывает его ни в армию, ни в сенат; ему презрительно позволяют сажать розы и картофель в Лагранже. Нет, такие вещи не забываются честолюбцем. И когда народ, вспоминая о революции, в 1815 году снова избирает бывшего любимца своим представителем и Наполеон вынужден к нему обратиться с речью, Лафайет отвечает холодно и уклончиво — слишком гордый, слишком честный, слишком искренний, чтобы скрыть свою вражду.

Но теперь, подталкиваемый Фуше, он выступает вперед; подавленная ненависть находит себе выход в благоразумии и силе. Впервые раздается опять с трибуны голос старого знаменосца: «Впервые за многие годы подымая голос, который узнают старые друзья свободы, я вынужден напомнить вам об опасностях, грозящих родине, спасение которой всецело в вашей власти». Впервые прозвучало опять слово свободы, и в этот миг оно значит: освобождение от Наполеона. Лафайет предлагает заранее отвергнуть всякую попытку распустить палату, еще раз произвести переворот; восторженно принимают решение объявить народное представительство несменяемым и считать предателем отечества всякого, кто будет повинен в содействии ее роспуску.

Кому адресовано это суровое послание, не трудно отгадать; едва узнав о решении, Наполеон ощутил удар, направленный ему в лицо. «Я должен был разогнать этих людей перед отъездом, — говорил он в бешенстве. — Теперь кончено». На самом же деле еще не все кончено и еще не поздно. Своевременным отречением он мог бы еще спасти для своего сына императорскую корону, а для себя — свободу; он мог бы, с другой стороны, сделать тысячу шагов, отделяющих Елисейский дворец от зала заседаний, и там своим личным присутствием воздействовать на это стадо баранов; но в мировой истории всегда повторяется одно паразитальное явление: как-раз самые энергичные люди

в наиболее ответственную минуту впадают в странную нерешительность, похожую на духовный паралич. Валленштейн перед своим падением, Робеспьер в ночь на 9 термидора — и в такой же мере вожди последней войны — все они именно тогда, когда даже излишняя поспешность была бы меньшей ошибкой, обнаруживают роковую нерешительность. Наполеон ведет переговоры, спорит с несколькими министрами, которые его равнодушно выслушивают, он бесполезно осуждает ошибки прошлого как раз в тот час, который должен решить его будущее, он обвиняет, он фантазирует, он выжимает из себя пафос — настоящий и театральный, — но не обнаруживает ни малейшего мужества. Он разговаривает, но не действует. И точно так же, как 18 брюмера, — словно история когда-нибудь повторялась в пределах одного жизненного круга, словно аналогия не была всегда самой опасной ошибкой в политике, — он посылает ораторствовать своего брата Люсьена вместо того, чтобы лично явиться и перетянуть на свою сторону депутатов. Но тогда Люсьен имел на своей стороне, в качестве красноречивого защитника, победы брата и могучие руки гренадеров, а его сообщниками были энергичные генералы. Кроме того (об этом Наполеон роковым образом забыл) за эти пятнадцать лет погибло десять миллионов человек. И потому, когда Люсьен теперь подымается на трибуну и обвиняет французский народ в неблагодарности, в нежелании защищать дело его брата, в Лафайете внезапно прорывается сдерживаемый гнев разочарованной нации против ее палача, и он произносит незабываемые слова, которые подобно искре, брошенной в пороховой погреб, сразу разрушают все надежды Наполеона: «Как, — обрушивается он на Люсьена, — вы осмеливаетесь бросить нам упрек, что мы недостаточно сделали для вашего брата? Разве вы забыли, что кости наших сыновей, наших братьев повсюду свидетельствуют о нашей верности? В песчаных степях Африки, на берегах Гвалдаквивира и Тахо, на берегах Вислы и на ледяных полях Москвы за эти десять с лишком лет погибло ради одного человека три миллиона французов! Ради человека, который еще и сейчас хочет проливать нашу кровь в борьбе с Европой. Этого достаточно, елишком достаточно для одного человека! Теперь наш долг спасти

отечество». Громовое одобрение, повидимому, всеобщее, могло бы убедить Наполеона, что наступил крайний срок добровольно отречься. Но, повидимому, на земле нет ничего более трудного, как отречься от власти. Наполеон медлит. Это промедление стоило его сыну империи, а ему свободы.

Фуше теряет, наконец, терпение. Если неудобный человек не хочет уйти добровольно, то долой его! Надо только немедленно и хорошенько приладить рычаг, — и тогда рухнет даже колоссальное обаяние. Ночью он обрабатывает преданных ему депутатов, и на следующее же утро палата повелительно требует отречения. Но и это недостаточно ясно для того, чью кровь волнует жажда могущества. Наполеон все еще ведет переговоры, пока, по настоянию Фуше, Лафайет не произносит решающих слов: «Если не последует отречения от престола, я предложу свержение».

Они дают повелителю мира час времени для почетного ухода, для окончательного отречения; но он использует его не как политик, а как актер — так же, как в 1814 году в Фонтенебло, перед своими генералами. «Как, — восклицает он возмущенно — насиле? В таком случае я не отрежусь. Палата есть только шайка якобинцев и честолюбцев, которых я должен был бы обличить перед нацией и разогнать. Но потерянное время можно наверстать». В действительности же он хочет, чтобы его просили еще настойчивее, чтобы, таким образом, жертва казалась еще значительнее; и в самом деле, министры почтительно уговаривают его, как в 1814 году уговаривали его генералы. Один Фуше молчит. Известие приходит за известием, стрелка часов неумолимо подвигается вперед по циферблату. Наконец, император бросает взгляд на Фуше, взгляд, как рассказывают свидетели, полный насмешки и страстной ненависти. «Напишите этим господам, — приказывает он ему презрительно, — чтобы они успокоились, — я их удовлетворю». Фуше тотчас набрасывает карандашом несколько строк своим подручным — о том, что ослиный удар больше не нужен, а Наполеон уходит в отдельную комнату, чтобы продиктовать своему брату Люсьену текст отречения.

Через несколько минут он возвращается в главный кабинет. Кому передать документ такого серьезного со-

держания? Какая страшная ирония! Именно тому, кто заставил его писать и кто стоит теперь неподвижно, как Гермес, неумолимый вестник. Император безмолвно вручает ему бумагу. Фуше безмолвно принимает с трудом добытый документ. И делает низкий поклон.

Но это был его последний поклон.

На заседании палаты Фуше отсутствовал. Теперь, когда победа одержана, он входит и медленно подымается на ступени, держа в руках исторический документ. Его узкая, жесткая рука интригана вероятно дрожала в эту минуту от гордости, потому что он вторично победил сильнейшего человека Франции. Это 22 июня для него так же важно, как 9 термидора. При всеобщем потрясающем молчании бросает он, холодный и неподвижный, несколько прощальных слов своему бывшему повелителю, словно бумажные цветы на свежую могилу. И больше никаких сентиментальностей! Не для того вышиблена власть из рук этого гиганта, чтобы, валяясь на земле, она могла бы сделаться добычей каждого, кто сумеет ее ловко поднять. Теперь нужно самому овладеть ею, нужно использовать минуту, к которой он стремился много лет. Он вносит предложение немедленно избрать временное правительство, директорию из пяти человек, уверенный, что теперь, наконец, он сам будет избран. Однако, еще раз ему угрожает опасность, что самостоятельность, к которой он так долго стремился, ускользнет из его рук; правда, ему удастся при выборах коварно подставить ножку опаснейшему конкуренту, Лафайету, который, именно своей прямой и республиканской убежденностью, оказал ему незаменимые услуги. Однако при первом подсчете Карно получил 324 голоса, а он сам, Фуше, только 293, так что председательство в новом временном правительстве принадлежит несомненно Карно. Но в эту решительную минуту, отделенный всего одним дюймом от цели своих стремлений, Фуше, как опытный азартный игрок, делает еще раз один из своих самых поразительных и подлых ходов. В результате выборов место председателя принадлежит Карно, а ему, Фуше, приходится и в этом правительстве быть только вторым, между тем как он жаждет быть, наконец, первым, неограниченным повелителем. Тогда он прибегает к утонченной хитрости: едва только собрался

совет пяти, и Карно готовится занять принадлежащее ему по праву председательское кресло, Фуше, делая вид, что это в порядке вещей, предлагает своим коллегам сорганизоваться. «Что вы под этим подразумеваете?» — спрашивает изумленный Карно. «Это значит, — наивно отвечает Фуше, — избрать председателя и секретаря». И с живой скромностью прибавляет: «Я даю вам мой голос для председательского места». Карно, не замечая, что его хотят провести, вежливо говорит: «А я вам свой». Но два сочлена втихомолку уже завербованы в пользу Фуше; он имеет, таким образом, три голоса против двух, и, прежде чем Карно понял, как его одурачили, сидит уже на председательском кресле. После Наполеона и Лафайета ему удалось перехитрить и Карно, и вместо этого популярнейшего человека властителем судеб Франции оказывается пройдоха Жозеф Фуше.

В течение пяти дней, от 13 до 18 июня, император потерял свою власть; в течение пяти дней, от 17 до 22 июня, Фуше ее приобрел; он теперь уже не слуга, а впервые — неограниченный повелитель Франции, свободный, божественно свободный, в своей любимой, сложной игре в мировую политику.

Его первое мероприятие: долой императора! Даже тень Наполеона подавляет Фуше, и совершенно так же, как Наполеон, когда был у власти, плохо себя чувствовал, пока этот непостижимый Фуше находился в Париже, так и Фуше не может спокойно дышать, пока пространство в несколько тысяч миль не будет отделять его от серого плаща. Он избегает говорить с ним лично, — к чему сентиментальности? он диктует ему письма, подернутые легким розовым флером благожелательства. Но скоро срывает он и этот бледный покров вежливости и беспощадно дает почувствовать сверженному императору его бессилье. Политическая прокламация, с которой Наполеон хотел на прощанье обратиться к своей армии, просто-напросто брошена под стол; напрасно на другой день Наполеон с недоумением ищет свои слова в «Moniteur'e». Фуше запретил их печатать. Фуше запрещает императору! Ему еще кажется невероятной безграничная дерзость, с которой обращается с ним его бывший слуга, но с каждым часом толчки, получаемые им от этой жесткой руки, становятся

все настойчивее и определеннее, пока он наконец не переезжает в Мальмезон. Забравшись туда, он упорно сопротивляется. Он хочет двигаться дальше, хотя уже приближаются драгуны армии Блюхера, хотя Фуше непрерывно и все суровее понуждает его быть благоразумным и уезжать. Чем яснее чувствует Наполеон свое падение, тем судорожнее цепляется за власть. В конце концов, когда дорожная карета уже стоит наготове на дворе, у него является мысль сделать еще один величественный жест; он, император, просит разрешения, в качестве простого генерала, стать во главе войск, чтобы снова победить или умереть. Но Фуше, трезвый Фуше, не может серьезно отнестись к такому романтическому предложению. «Шутит, что ли, этот человек с нами?—воскликает он гневно.—Его присутствие во главе армии явилось бы только новым вызовом Европе, и не таков его характер, чтобы можно было поверить в его равнодушие к власти».

Фуше грубо выговаривает генералу за то, что тот вообще осмеливается обратиться к нему с подобным поручением вместо того, чтобы отправить императора, и приказывает ему немедленно позаботиться об отъезде этого человека. Самого Наполеона он вообще не удостоивает ответом. Победенные в глазах Фуше не стоят капли чернил.

Наконец он свободен, наконец он у цели: устранив Наполеона, пятидесятишестилетний Фуше, герцог Отрантский, стоит один, никем неограниченный, на вершине власти. Какой бесконечно извилистый путь пройден им через житейский лабиринт в течение четверти века: от маленького бледного купеческого сына к печальному монастырскому учителю с тонзурой на голове, потом народный трибун и проконсул, затем герцог Отрантский, слуга императора, и наконец — ничей слуга, а единственный повелитель Франции. Интрига восторжествовала над идеей, судьба над гением. Вокруг него целое поколение бессмертных отошло в вечность: Мирабо умер, Марат умерщвлен, Робеспьер, Демулен, Дантон гильотинированы, его товарищи по консульству Колло изгнан на маярийный остров Гвианы, Лафайет устранен, все, все его товарищи по революции ушли, исчезли. В то время, как он, свободно избранный доверием всех партий, распоряжается судьбами

Франция, Наполеон, повелитель мира, в бедной одежде, с фальшивым жаспортом, едет в изгнание в качестве секретаря какого-то незначительного генерала; Мюрат и Шей ожидают расстрела, родственники Наполеона, ничтожные короли по его милости, бродят с места на место, без земли, с пустыми карманами, в поисках убежища. Все славные деятели этой единственной, поворотной эпохи мира пали, он один возвысился благодаря тому настойчивому терпению, с каким он составлял свои планы, роаясь во мраке под землей. Министерство, сенат и народное собрание покорно гнутся, как мягкий воск, в его искусных руках, некогда высокомерные генералы, дрожа за свои пенсии, с овечьей кротостью подчиняются новому президенту; все граждане и весь народ ждут его решений. Людовик XVIII шлет к нему гонцов, Талейран шлет поклоны, Веллингтон, победитель при Ватерлоо, посылает ему дружеские известия, — впервые все нити мировых судеб проходят совершенно открыто и свободно через его руки. Пред ним стоит неизмеримая задача: охранить разбитую, побежденную страну от приближающихся врагов, помешать бесполезному, патетическому сопротивлению, добиться хороших условий мира, найти подходящую государственную форму, подходящего государя, создать из хаоса новые нормы, прочный порядок. Это требует мастерского умения, крайней изворотливости ума, и действительно в этот час, когда все сбиты с толку и теряют при отсутствии духа, распоряжения Фуше обнаруживают величайшую энергию, а его замыслы, идущие по двум или даже четырем направлениям, поразительную уверенность. Он со всеми дружен, но только для того, чтобы всех дурачить и делать лишь то, что ему лично кажется правильным и полезным. Хотя он делает вид перед парламентом, что стоит за сына Наполеона, перед Карно — что он приверженец Республики, перед союзниками выдает себя за сторонника герцога Орлеанского, на самом деле он незаметно тихонько подталкивает кормило правления к прежнему королю Людовику XVIII. Совершенно незаметно, делая легкие, искусные повороты, не открывая даже ближайшим товарищам своих действительных намерений, переходит он через целое болото подкупов на сторону роялистов и ведет переговоры о передаче правительства Бурбонам, в то время

Как в совете министров и в палате он непоколебимо играет роль бонапартиста и республиканца. С психологической точки зрения такое решение задачи было единственно правильным. Только немедленная капитуляция перед королем может обеспечить пощаду истекающей кровью, разоренной, наводненной чужими войсками Франции, создать безболезненный переход. Фуше, единственный из всех, благодаря своему чутью действительности, сразу понимает необходимость этого и проводит в жизнь свой замысел собственной волей и собственными силами, несмотря на противодействие совета, народа, армии, палаты и сената.

Фуше, действительно, обнаруживает в эти дни много умственных качеств, но — в этом его трагедия! — ему недостает только одного, последнего, самого высшего и чистого качества: умения забыть себя, свою выгоду ради дела. Того последнего качества, которое подсказало бы, что ему, пятидесятипятилетнему старику, стоящему на вершине славы, обладающему десяти- или двадцатимиллионным состоянием, пользующемуся почетом и уважением современников и истории, по окончании столь мастерски исполненной задачи надо отойти в сторону. Но тот, кто двадцать лет так жадно стремился к власти, кто двадцать лет наслаждался ею и все еще не насытился, тот неспособен отойти, — совершенно так же, как Наполеон, Фуше неспособен уйти от власти хотя бы минутой прежде, чем его оттолкнут от нее. И так как у него уж нет господина, которого он мог бы предать, ему ничего более не остается, как предать самого себя, свое прошлое. Возвратить теперь побежденную Францию ее прежнему повелителю — вот истинное дело данного момента, правильная и смелая политика. Но требовать награды за такое решение, получить «на водку» пост королевского министра — это уже низко, это более чем преступно: это глупо. И бешеный честолюбец Фуше совершает эту глупость, чтобы хоть еще в течение нескольких мировых часов «avoir la main dans la pâte», дить из источника власти. Это его первая и самая большая, неизгладимая глупость, навеки заклеившая его перед историей. Ловко, умно и упорно взбирался он на тысячу ступенек, но на последней неловко и совершенно ненужно опустился на колени и полетел стремглав вниз.

Как произошла эта продажа трона Людовику XVIII

в награду за министерский пост, об этом свидетельствует сохранившийся характерный документ, один из немногих дословно воспроизводящий дипломатический разговор обычно столь осторожного Фуше. Во время ста дней единственный мужественный приверженец короля, барон де Витроль в Тулузе, собрал армию и сразился с возвращающимся Наполеоном. Его схватили в плен, привезли в Париж, и император хотел немедленно приказать расстрелять его, но вмешался Фуше; он всегда стоял за пощаду, в особенности по отношению к тем врагам, которые, во всяком случае, могли еще пригодиться. Итак, удовольствовались тем, что заключили его в военную тюрьму до окончания судебного производства. Но как только 23 июня Фуше становится повелителем Франции, жена арестованного спешит к нему и умоляет об освобождении Витроля, и Фуше немедленно изъявляет согласие, потому что для него очень важно заручиться расположением Бурбонов. На другой же день барон Витроль, освобожденный предводитель роялистов, является к герцогу Отрантскому, чтобы выразить свою благодарность. Между избранным республиканскими голосами главой страны и непримиримым архироялистом происходит следующий разговор. Фуше говорит ему: «Что предполагаете вы теперь делать?» — «Я думаю ехать в Гент, почтовая карета ждет уже у ворот». — «Это самое разумное, что вы можете сделать, потому что здесь для вас не безопасно». — «Не хотите ли вы что-нибудь передать через меня королю?» — «Ах, боже мой, нет. Совершенно ничего. Скажите только пожалуйста его величеству, что он может рассчитывать на мою преданность, но, к сожалению, не от меня зависит, чтобы он в скором времени приехал в Тюильри». — «Но мне кажется, что это зависит только от вас». — «Меньше, чем вы предполагаете. Трудности очень велики. Во всяком случае палата упростила ситуацию. Вы ведь знаете, — и при этом Фуше улыбается, — что она провозгласила королем Наполеона Второго». — «Как Наполеона Второго?» «Конечно, с этого надо было начать». — «Но я полагаю, что к этому нельзя серьезно относиться?» — «Да, конечно. Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь в том, что это провозглашение совершенно бессмысленно. Но вы не можете себе представить, как много есть еще

людей, преданных этому имени. Некоторые из моих коллег, и прежде всего Карно, убеждены, что с избранием Наполеона Второго все будет спасено». — «А сколько времени будет продолжаться еще эта шутка?» — «По всей вероятности столько, сколько нам потребуется, чтобы избавиться от Наполеона Первого». — «И что же тогда произойдет?» — «Почем я знаю? В такие минуты, как теперь, трудно предсказать, что будет на следующий день». — «Но если господин Карно, ваш коллега, так привязан к Наполеону, вам будет, вероятно, трудно отклонить эту комбинацию?» — «Ба, вы не знаете Карно! чтобы его от этого отвлечь, достаточно провозгласить правительство французского народа. Французский народ, подумайте только, что он скажет, когда услышит эти слова!» И оба смеются: избранный республиканцами герцог Отрантский, высмеивающий своего коллегу, и представитель роялистов. Они начинают понимать друг друга. «Это правильно, так дело пойдет на лад, — возобновляет разговор барон Витроль. — Но я надеюсь, что после Наполеона Второго и «французского народа» вы вспомните, наконец, о Бурбонах». — «Разумеется, — говорит Фуше, — очередь за герцогом Орлеанским». — «Как за герцогом Орлеанским? — восклицает изумленный барон Витроль. — Неужели вы думаете, что король согласится принять корону, которую столько раз выставляли на продажу и предлагали всему свету?» Фуше молчит и улыбается.

Но барон де Витроль уже понял. Фуше показал ему свои намерения этим лукаво ироническим, как будто небрежным разговором. Он дал ему ясно почувствовать, что, пожалуй, трудностей достаточно, что вместо Людовика XVIII могут провозгласить власть либо Наполеона Второго, либо французского народа, либо герцога Орлеанского, но что лично он, Фуше, не сочувствует особенно ни одной из этих возможностей и готов спокойно вычеркнуть их все три в пользу Людовика XVIII, если... Это условие не высказано, но барон Витроль понял его, быть может по улыбке во взгляде, быть может по какому-нибудь жесту. Во всяком случае он принимает внезапное решение отказаться от поездки и остаться в Париже у Фуше, конечно при условии, что ему будет предоставлена свобода переписки с королем. Он ставит условия: прежде всего

для его агентов двадцать пять паспортов в Гент, в главную квартиру короля. «Пятьдесят, сто, сколько вы хотите», отвечает весело настроенный республиканский министр полиции представителю противников Республики. «Затем прошу вас разрешить мне один раз в день с вами разговаривать». Снова весело отвечает герцог: «Один раз недостаточно! Два раза, один раз утром, другой раз вечером». Теперь барон де Витроль может спокойно оставаться в Париже и под защитой герцога Отрантского переговариваться с королем и сообщить ему, что ворота Парижа для него открыты, если... если Людовик XVIII готов купить герцога Отрантского в качестве министра нового королевского правительства.

Когда Людовику Восемнадцатому предложили подарить Фуше министерский пост, чтобы таким способом открыть себе ворота Парижа, Бурбон, обычно флегматичный, вскипел. «Никогда!» крикнул он тем, которые хотели поставить в списке это ненавистное имя. И действительно, какое нелепое предложение: принять в кабинет убийцу короля, одного из тех, кто подписал смертный приговор его родному брату, беглого священника, бешеного атеиста и слугу Наполеона! «Никогда!» кричит он в возмущении. Но ведь известно из истории, что означают эти «никогда» королей, политиков и генералов: почти всегда они являются началом капитуляции. Разве Париж не стоит обедни?¹ Разве со времени Генриха IV короли, его предки, не приносили подобных sacrifici dell'intelletto, жертв ума и совести ради обладания властью?

Под влиянием настойчивых усилий со стороны придворных генералов, Веллингтона и более всего Тадейрана (ему, женатому епископу, нужно иметь среди придворных еще более хитрого человека), король начинает постепенно колебаться. Все уверяют его, что только один человек может беспрепятственно открыть ему ворота Парижа: только Фуше! Только он, человек, принадлежащий ко всем партиям и разделяющий мнения всех, являющийся лучшим вечным стремлянным всех претендентов на корону, только он может предотвратить кровопролитие. Кроме того, этот

¹ Выражение Генриха IV, принявшего в 1593 г. католичество, отказавшись от протестантизма для того, чтобы получить французский престол. *Прим. перев.*

старый якобинец уже давно сделался отличным консерватором, раскаялся и наилучшим образом предал Наполеона. В конце концов король, чтоб облегчить свою совесть, исповедуется — говорят, что он воскликнул: «бедный брат, если бы ты мог видеть меня в эту минуту!» — и изъявляет готовность принять Фуше тайно в Нельи — тайно, потому что в Париже никто не должен подозревать, что избранный вождь народа продает свою страну ради министерского поста, а претендент на престол — свою честь ради королевской короны. Во мраке, в присутствии одного только свидетеля, беглого епископа, заключается это позорнейшее дело новой истории между бывшим якобинцем и будущим королем.

Там, в Нельи, разыгрывается жуткая и фантастическая сцена, достойная Шекспира или Аретино:¹ король Людовик XVIII, потомок Людовика Святого, принимает одного из убийц своего брата, семикратного клятвопреступника Фуше, министра Конвента, императора и Республики, для принесения присяги, восьмой присяги на верность. Талейран, бывший епископ, затем республиканец, затем слуга императора, вводит своего компаньона. Чтобы лучше ступать, хромо́й Талейран кладет свою руку на плечо Фуше, — «порок, опирающийся на предательство», по язвительному замечанию Шатобриана, — и таким образом эти два атеиста, оппортуниста, приближаются, как братья, к наследнику Людовика Святого. Сперва низкий поклон. Затем Талейран принимает на себя тяжелую обязанность представить королю в качестве министра убийцу его брата. Худощавый человек делается еще бледнее обыкновенного, когда он преклоняет колени перед «тираном», «деспотом» для принесения присяги, целует руку, в которой течет та самая кровь, что он некогда помог пролить, и приносит присягу во имя того бога, чьи церкви он разграбил и осквернил вместе со своей шайкой в Лионе. Во всяком случае, это слишком сильно, даже для Фуше.

Поэтому, покидая комнату, где происходила аудиенция, он все еще бледен и должен опираться на хромого Талейрана. Он не говорит ни слова. Даже иронические замечания этого прожженного циника-епископа, который, служа обедню, играл в карты, не могут вывести его из смущен-

¹ Знаменитый итальянский сатирик XVI века. *Прим. перев.*

ного молчания. Ночью, имея в кармане подписанный декрет о своем назначении министром, возвращается он в Париж к своим ничего не подозревающим коллегам в Тюильри, которых он завтра выгонит, а после завтра отправит в ссылку; ему, вероятно, не очень уютно среди них. Наконец-то этот неверный слуга стал свободным, но — удивительные контрасты судьбы — низменные души никогда не выносят свободы, а бегут, как бы по понуждению, обратно в рабство. И вот Фуше, вчера еще сильный и независимый, вновь унижается перед господином, вновь приковывает свои свободные руки к галере власти (предполагая, что находится у руля судьбы). Скоро он будет носить и клеймо, знак своей галеры.

На следующее утро вступают войска союзников. Согласно тайному уговору они занимают Тюильри и просто-напросто запирают двери перед депутатами. Это дает удобный повод мнимо-изумленному Фуше предложить своим коллегам, в виде протеста против штыков, низложить правительство. Одураченные министры поддаются его патетическим жестам. Согласно уговору, престол внезапно оказывается незанятым, и в течение одного дня в Париже нет правительства. Людовику XVIII достаточно приблизиться к воротам Парижа — и его восторженно принимают, как спасителя, под шумные возгласы ликования, подготовленные за деньгами новым министром полиции: отныне Франция опять королевство.

Теперь только коллеги Фуше поняли, как утонченно он их провел. Теперь из «Moniteur'a» они узнают, за какую цену был куплен Фуше. В эту минуту в благовоспитанном честном незапятнанном (хотя несколько ограниченном) Карно вспыхивает бешенство: «Куда же мне теперь идти, предатель?» — обрушивается он с презрением на новоиспеченного роялистского министра полиции.

Но Фуше отвечает ему так же презрительно: «Куда тебе угодно, дурак».

Этим лаконическим диалогом, характеризующим обоих старых якобинцев, последних термидорианцев, завершается удивительнейшая драма нового времени — Революция с ее ослепительной фантазмагорией — шествием Наполеона через мировую историю. Эпоха героических приключений угасла, начинается буржуазная эпоха.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ¹

НИЗЛОЖЕН И ЗАБЫТ

1815—1820

28 июля 1815 года — сто дней Наполеоновского интермеццо уже позади — король Людовик XVIII, в пышной парадной карете, запряженной белыми иноходцами, вторично въезжает в свой город Париж. Прием великолепен, Фуше поработал на-славу. Ликующие толпы окружают карету, над домами веют белые флаги, а там, где их не нашлось, привязали наскоро к палкам платки и скатерти и высунули в окна. Вечером город блестит тысячами огней, от избытка радости дамы танцуют даже с офицерами английских и прусских гарнизонных войск. Не раздается ни одного враждебного выкрика, предусмотрительно заготовленная жандармерия оказывается излишней; да, новый министр полиции христианнейшего короля, Жозеф Фуше, превосходно позаботился о своем новом суверене. В Тюильри, том самом дворце, где еще месяц назад он почтительно держал себя наивернейшим слугой своего императора Наполеона, герцог Отрантский ожидает короля, Людовика Восемнадцатого, брата того «тирана», которого он 22 года тому назад, в этом же доме, приговорил к смерти. Теперь, однако, он глубоко и подобострастно склоняется перед потомком Людовика Святого и подписывается в своих письмах: «с почтением Вашего Величества наивернейший и наипреданнейший подданный» (эти слова, буквально, можно прочесть под дюжиной собственноручно

¹ Перевод Л. И. Вольфсон.

написанных Фуше бумаг). Из всех бешеных прыжков его акробатического характера этот был самым дерзким, но он будет и последним на политическом канате. По началу кажется, что все великолепно пойдет на лад. Пока король некрепко сидит на троне, он не пренебрегает услугами господина Фуше. И, потом, он еще нуждается в этом Фигаро, который умеет так блестяще жонглировать во всех направлениях. Прежде всего — для выборов, так как при дворе хотят обеспечить надежное большинство в народном парламенте; «испытанным» республиканцем и человеком, вышедшим из народа, пользуются в этом случае, как непревзойденным погонщиком. Кроме того, нужно позаботиться еще о всякого рода неприятных кровавых делах: почему не использовать эти истасканные перчатки? Ведь их можно после этого выбросить, даже не запачкав королевских рук.

Такое грязное дело представляется в первые же дни. Правда, в изгнании король торжественно обещал предоставить амнистию и не преследовать никого, кто в течение «ста дней» служил возвратившемуся узурпатору. Но после обеда рассуждаешь иначе;¹ в очень редких случаях короли считают себя обязанными сдержать то, что они обещали, пока были претендентами на корону. Злобные роялисты, гордые собственной верностью, требуют, чтобы теперь, когда король крепко сидит в седле, были наказаны все те, кто за «сто дней» отвернулся от знамени, расшитого лилиями. Побуждаемый роялистами, которые всегда настроены более роялистично, чем сам король, Людовик XVIII наконец сдается. И на долю министра полиции выпадает тяжелая обязанность составить список осужденных.

Герцогу Отрантскому это поручение неприятно. Можно ли действительно наказывать людей из-за такой мелочи, из-за того только, что они оказались наиболее благоразумными и перешли на сторону сильнейшего, на сторону победителя? И потом он, министр полиции христианнейшего короля, помнит, что первое место в таком опальном списке по всем правам должно, собственно, принадлежать герцогу Отрантскому, министру полиции при Наполеоне,

¹ Немодкая поговорка. Прим. перев.

то есть ему самому. Мучительное положение — бог свидетель! Прежде всего, Фуше пытается хитростью избежать неприятного поручения. Вместо списка, который должен был содержать тридцать или сорок главных виновников, он приносит, ко всеобщему удивлению, несколько больших листов с тремя или четырьмястами, а как утверждают некоторые, даже с тысячью имен, и требует либо наказания их всех, либо никого. Он надеется, что у короля не хватит для этого мужества и, таким образом, с неприятным делом будет покончено: но, к сожалению, в министерстве председательствует Талейран, такая же лиса, как он сам. Он тотчас же замечает, что пилюля не пришлась по вкусу его приятелю Фуше: тем более стремится он заставить его ее проглотить. Он безжалостно велит сократить список Фуше, пока остаются лишь четыре дюжины имен, и оставляет на его долю мучительную обязанность подписать своим именем эти приговоры к смерти и изгнанию.

Самое разумное для Фуше было бы надеть шляпу и закрыть за собой дверь дворца снаружи. Но уже не раз указывалось здесь на слабое место Фуше: его честолюбие обладает всеми качествами ума, за исключением одного — во-время отойти. Он лучше навлечет на себя немилость, ненависть и гнев, нежели добровольно покинет министерское кресло. Так появляется, вызывая всеобщее возмущение, опальный список, содержащий самые известные и благородные имена Франции, скрепленный подписью старого якобинца. Среди имен: Карно «l'organisateur de la victoire»,¹ создатель республики, и маршал Ней, победитель в бесчисленных битвах, спаситель остатков восточной армии, — все его товарищи из временного правительства, последние его товарищи по Конвенту, его товарищи по революции. Все имена находятся в этом ужасном списке, который осуждает на смерть или изгнание все имена, которые за время последних десятилетий покрыли Францию славой. Только единственное имя отсутствует в нем, — имя Жозефа Фуше, герцога Отрантского.

Или, вернее, — оно не отсутствует. Имя герцога Отрантского значится на листе. Но не в тексте, среди обвиняе-

¹ Организатор победы.

мых и осужденных министров Наполеона. А как королевского министра, который отправляет всех товарищей на смерть или в изгнание, — как имя палача.

За такой удар, который старый якобинец этим самоунижением нанес своей совести, король не может отказать ему в известной благодарности. Жозефу Фуше, герцогу Отрантскому, воздается теперь наивысшая и последняя честь. После пяти лет вдовства он решил опять жениться, и тот самый человек, который когда-то так злобно жаждал «крови аристократов», задумал теперь сам соединиться с «голубой кровью» брачными узами — жениться на графине Каstellян, аристократке высшего ранга, тем самым, значит, члене «той преступной банды, которая должна погибнуть под мечом закона», как проповедывал он в свое время в Невере. Но с тех пор — мы видели это на многочисленных примерах — прежний якобинец, кровавый Жозеф Фуше, основательно изменил свои взгляды; когда теперь, первого августа 1815 года, он едет в церковь, то это происходит не как в 1793 г. для того, чтобы молотком разбивать «позорные свидетельства фанатизма», распятия и алтари, а для того, чтобы со своей благородной невестой смиренно принять благословение человека в той митре, которую он, как помнит читатель, в 1793 г. нахлобучил ради шутки на уши ослу. По старому дворянскому обычаю, — герцог Отрантский знает, что приличествует, когда он берет в жены графиню де Каstellян, — брачный контракт подписывается первыми людьми двора и знати. И первым подписывает этот, в своем роде единственный документ в мировой истории Людовик XVIII, *manu propria*¹ — подписывает убийце своего брата, как самый достойный и самый недостойный свидетель.

Это много, без сомнения много. И даже слишком много. Эта высшая дерзость со стороны «régicide», царубийцы, просить в свидетели венчания брата пылотинированного короля, возбуждает в дворянских кругах невероятное раздражение. Этот жалкий перебежчик, этот роялист с позавчерашнего дня, — так ворчат они, — ведет себя так, как будто он действительно принадлежит ко двору и к благородному сословию. Кому, собственно говоря, нужен

¹ Собственноручно.

еще этот человек, «le plus dégoûtant reste de la Révolution», этот последний грязный отброс революции, который оскверняет министерство своим презренным присутствием? Конечно, он помогал привести короля обратно в Париж, он дал свою продажную руку, чтобы подписать осуждение лучшим людям Франции. Но теперь довольно! Те же аристократы, которые настаивали, пока король в нетерпении ожидал перед воротами Парижа, на том, что он непременно должен произвести в министры герцога Отрантского, чтобы без кровопролития вступить в Париж, те же господа вдруг больше не знают никакого герцога Отрантского; они упрямо помнят только некоего Жозефа Фуше, который в Лионе расстрелял из пушек сотни священников и дворян и требовал смерти Людовика Шестнадцатого. Внезапно герцог Отрантский замечает, что, когда он проходит приемную короля, целый ряд дворян больше не раскланивается с ним или поворачивает ему спины с вызывающей пренебрежительностью. Внезапно выплывают и переходят из рук в руки прокламации против «mitrailleur de Lyon», новое патриотическое общество «Francs régénérés»,¹ предки «camelots du roi» и «Пробуждающейся Венгрии», устраивает собрания и требует коротко и ясно, чтобы знамя, расшитое лилиями, было, наконец, очищено от этого позорного пятна.

Но Фуше не сдается так легко, когда речь идет о власти: он крепко цепляется за нее зубами. В секретном донесении одного шпиона того времени можно прочесть о том, как он пытается уцепиться со всех сторон. В конце концов — в стране еще находятся враждебные властители: они смогут защитить его от ультракоролевских слуг короля. Он наносит визит русскому царю, ежедневно часами ведет переговоры с Веллингтоном и английским посланником; он пускает в ход все дипломатические средства, пытаясь, с одной стороны, завоевать расположение народа жалобой против введенных войск и в то же время напугать короля преувеличенными донесениями. Он шлет победителя при Ватерлоо к королю Людовику Восемнадцатому как своего заступника, он мобилизует банковых дельцов, женщин и последних друзей. Нет, он не хочет

¹ Освободительные франки.

уходить: слишком дорого обошелся этот пост его совести, чтобы не защищаться до иступления. И, действительно, еще несколько недель ему, как опытному пловцу, который то ложится на бок, то поворачивается на спину, удается продержаться на политических водах. В продолжение всего этого времени, как сообщает шпион, он бравирует оказываемым ему доверием, а возможно, что он и действительно им пользовался. Недаром все эти двадцать пять лет он неизменно выплывал.

И стоит ли тревожиться из-за каких-то дворянчиков тому, кто справился с Наполеоном и Робеспьером! Старый диник давно уже не боится людей, он — который перехитрил и пережил величайших в мировой истории людей.

Но одного искусства не изучил этот старый кондотьер, этот утонченный знаток людей, да и никто не может его изучить: искусства бороться с призраками. Он забыл одно, что при дворе короля, как эбрия мести, бродит призрак прошлого: герцогиня Ангулемская, родная дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, единственная из всей семьи, избежавшая великого избиения. Король Людовик XVIII еще мог простить Фуше; в конце концов, этому якобинцу он обязан своим королевским тронem, а такое наследство утишает иногда (история может это доказать) братскую скорбь и в высших кругах. Ему было легко простить потому, что он не пережил лично ничего из того ужасного времени. У герцогини же Ангулемской, дочери Людовика XVI и Марии Антуанетты, остались в душе потрясающие картины ее детства. У нее есть воспоминания, которые не забываются, и чувство ненависти, которое ничем не может быть смягчено; слишком много испытали ее тело и ее душа, чтобы она могла когда-нибудь простить этого якобинца, этого страшного человека. Ребенком она присутствовала в замке Сен-Клу, в тот ужасный вечер, когда народные толпы санкюлотов убили привратника и в окровавленных сапогах предстали перед ее матерью и отцом. Она потом пережила вечер, когда ее, отца, мать и брата, «булочника, булочницу и детей булочника», стиснутых в телеге, каждый час ожидающих смерти, волочила кричащая и неистовствующая толпа обратно в Париж, в Тюильри. Она пережила десятое августа, когда толпа, выломав двери, ввалилась в покои матери; когда ее отцу,

насмехаясь, надели красную шапку на голову и приставили пику к груди; она пережила жуткие дни в тюрьме Тампли и ужасные минуты, когда к ним в окно подняли на пике окровавленную голову подруги ее матери, герцогини Ламбалльской, с распущенными, склеившимися, от крови волосами. Как может она забыть вечер прощания со своим отцом, которого тащили на гильотину, со своим маленьким братом, которого заморили и стноили в темнице? Как не вспоминать о соратниках Фуше в красных шапках, которые так долго мучили ее и заставляли показывать в процессе против королевы о разврате ее матери Марии Антуанетты с ее маленьким сыном? И как изгнать из памяти то мгновение, когда она была вырвана из объятий своей матери и внизу по мостовой загромычала телега, которая везла ее на гильотину? Нет, она, дочь Людовика XVI и Марии Антуанетты, узницы Тампли, знает об этих ужасах не как Людовик XVIII, по наслышке или из газет, они неизгладимо выжжены в ее напуганной, омраченной, измученной и истерзанной детской душе. И ненависть к убийцам ее отца, к мучителям ее матери, к ужасным картинам ее детства, к якобинцам и революционерам, далеко еще не утихла в ней, далеко еще не отомщена.

Такие воспоминания не забываются. И она поклялась нигде и никогда не подавать руки министру ее дяди, соучастнику убийства ее отца, Жозефу Фуше; никогда не дышать с ним одним воздухом, в одном и том же помещении. Открыто и вызывающе показывает она министру, перед всем двором, свое презрение и ненависть. Она не посещает ни одного праздника, ни одного собрания, где принимает участие этот убийца короля, этот предатель собственных убеждений; и ее открытое, насмешливое, фанатически подчеркиваемое презрение к перебежчику постепенно подстегивает у всех остальных чувство чести. В конце концов все члены королевской фамилии единодушно требуют от Людовика Восемнадцатого, чтобы теперь, когда его власть достаточно крепка, он с позором изгнал из Тюильри убийцу своего брата.

Неохотно, как помнит читатель, и потому лишь, что он не мог без него обойтись, назначил Людовик XVIII министром Жозефа Фуше. Охотно, и даже радостно, дает он ему теперь, когда в нем больше не нуждается, — отставку.

«Бедную герцогиню надо избавить от встреч с этим отвратительным типом», улыбаясь говорит он о человеке, который, еще ничего не подозревая, подписывается как его «наивернейший слуга». И Талейран, другой перебежчик, получает королевское поручение — разъяснить своему приятелю из Конвента и наполеоновского времени, что его присутствие в Тюильри не является более желательным. Талейран охотно принимает это поручение. Ему уже становится трудно держать паруса по крепкому роялистскому ветру. И он рассчитывает еще продержаться свой счастливый корабль на воде, выбросив излишний балласт. А самый тяжелый балласт в его министерстве — это убийца короля, его старый сообщник Фуше: эту, казалось бы, тяжелую обязанность — выкинуть его за борт — выполняет он с очаровательной светской ловкостью. Не грубо или торжественно сообщает он ему об его отставке, — нет; как старый мастер формы, как природный дворянин, он выбирает изумительный способ дать Фуше понять, что теперь для него пробил последний час. Все время продолжает этот последний аристократ восемнадцатого века разыгрывать свои комедии и интриги за кулисами салона; и в этот раз он облакает грубое прощание в тончайшую из всех форм. 14 декабря Талейран и Фуше встречаются на одном вечере. Ужинают, разговаривают, болтают; Талейран в прекрасном настроении. Вокруг него собирается большой круг: красивые женщины, сановники и молодежь, все жадно теснятся, чтобы послушать этого мастера речи. И действительно, в этот раз он особенно charmant.¹ Он рассказывает о давно прошедших днях, когда ему пришлось, чтобы предупредить приказ Конвента об его аресте, бежать в Америку, и восторженно восхваляет эту великолепную страну. Ах, как там чудесно: непроходимые леса, обитаемые первобытными племенами краснокожих, неисследованные потоки, мощный Потомак и огромное озеро Эри; а среди этой героической и романтической страны — новая порода людей, закаленная, крепкая и сильная, опытная в битвах, преданная свободе, образцовая в своих законах, неограниченная в своих возможностях. Да, там еще можно поучиться, там чувствуется новое, лучшее будущее,

¹ Очарователя.

в тысячу раз более живое, чем в нашей отжившей Европе! Там следовало бы жить, там надо было бы действовать,— восторженно восклицает он, — и ни один пост не казался бы ему более заманчивым, чем должность посла в Соединенных Штатах...

Внезапно он перебивает себя в своем, как бы случайном, вдохновении и обращается к Фуше: «Не хотелось ли бы вам, герцог Отрантский, получить такое назначение?» Фуше бледнеет. Он понял. Внутренне он дрожит от ярости, как умело и ловко, перед всеми людьми, перед всем двором, выставила старая лиса за дверь его министерское кресло. Он не отвечает. Но через несколько минут он раскланивается, идет домой и пишет свою отставку. Талейран радостно остается и на обратном пути сообщает своим друзьям, криво усмехаясь: «На этот раз я ему окончательно свернул шею».

Для того чтобы слегка замаскировать перед светом это явное изгнание Фуше, отставленному министру предлагают для проформы другую маленькую должность. Таким образом, в «*Moniteur*» не значит, что убийца короля, «*gégicide*» Жозеф Фуше отставлен от своего поста министра полиции, но там можно прочесть, что его величество, Людовик XVIII, соблаговолил назначить его светлость герцога Отрантского послом к Дрезденскому двору. Естественно все ждут, что он откажется от этого ничтожного назначения, которое не соответствует ни его рангу, ни его уже всемирно-историческому положению. Но не тут-то было! Не трата много размышлений, Фуше должен был понять, что он, убийца короля, окончательно и бесповоротно низложен со службы реакционному королевству, что через несколько месяцев у него вырвут из зубов и эту жалкую кость. Но безумная жажда власти превратила эту, в былое время такую отважную волчью душу — в собачью. Точно так же, как Наполеон до последнего момента неутомимо цеплялся не только за свое положение, но и за обманчивый звук имени своего императорского достоинства, точно так же и еще более неблагородно хватается его слуга Фуше за последний, маленький титул призрачного министерства. Клейко, как слизь, липнет он к власти; полный горечи, покоряется этот вечный слуга и на этот раз своему повелителю. «Я принимаю, *Sire*, с благодарностью должность

посла, которую ваше величество соблаговолило предложить мне», смиренно пишет этот пятидесятисемилетний старик, этот обладатель двадцати миллионов — человеку, который полгода тому назад вернулся на трон благодаря его милости. Он укладывает свои чемоданы и переезжает со своей семьей к маленькому дворчику в Дрезден, устраивается по-княжески и ведет себя так, как будто собирается провести там остаток своей жизни в роли королевского посланника.

Но то, чего он так долго страшился, скоро исполняется. Почти двадцать пять лет Фуше неистово боролся против возвращения Бурбонов, инстинктивно чувствуя, что они должны будут все же, в конце концов, потребовать отчета за те два слова «La mort», с которыми он отправил на гильотину Людовика XVI. Но он наивно надеялся обмануть их, прокравшись в их ряды и замаскировавшись под верного слугу короля. Однако на этот раз он обманул не других, а лишь самого себя. Едва только успел он обклеить новыми обоями свою комнату в Дрездене, едва успел заправить стол и кровать, как во французском парламенте уже разражается гром. Никто не говорит больше о герцоге Отрантском, все забыли, что достойный носитель этого имени с триумфом ввел в Париж их нового короля, Людовика XVIII; речь идет только о господине Фуше, «régicide» Жозефе Фуше из Нанта, который в 1792 году приговорил к смерти короля, о «mitrailleur de Lyon», и подавляющим большинством — 334 голоса против 32 — человек, «который поднял руку на помазанника», лишается какой бы то ни было амнистии и на всю жизнь изгоняется из Франции. Само собой разумеется, что это означает также и постыдное снятие его с должности посланника. Безжалостно, насмешливо и презрительно «господин Фуше» выгнан на улицу; он уже больше не именуется светлостью, он больше не комтур Почетного Легиона, больше не сенатор, больше не министр, больше не носитель знаков отличия; кроме того, саксонскому королю дается понять, что и личное пребывание этого субъекта, Фуше, в Дрездене более нежелательно. Тот, кто сам отправил тысячи в изгнание, следует за ними теперь, двадцать лет спустя, как последний из боровшихся в Конвенте, без пристанища, проклинаемый, изгнанный. И теперь,

когда он лишен власти и свободен как птица, пенявисть всех партий так же единодушно обрушивается на низложенного, как прежде симпатии всех партий окружали властелина. Теперь не помогают больше ни уловки, ни протесты, ни уверения: властелин без власти, низложенный политик, сошедший со сцены интриган — всегда самое жалкое существо на земле. Поздно, но с безмерными процентами заплатит теперь свой долг Фуше, никогда не служивший какой-нибудь идее, моральной страсти человечества, а всегда лишь — преходящей благосклонности мгновения и людей.

Куда же теперь? Изгнанный из Франции герцог Отрантский сначала не заботится об этом. Разве он не любитель русского царя, не доверенный Веллингтона, победителя при Ватерлоо, не друг всемогущего австрийского министра Меттерниха? Разве не обязаны ему баварские князья и Бернадоты, которых он посадил на шведский престол? Разве не близок он уже многие годы со всемп дипломатами, разве не добивались страстно все князья и короли Европы его благосклонности? Ему достаточно (так думает низложенный) только сделать лишь легкий намек, и каждая страна будет настойчиво добиваться чести принять изгнанного Аристиды. Но какая разница в обращении мировой истории с низложенным и с властелином! Несмотря на многократные намеки, со стороны русского двора не приходят приглашения, так же, как и от Веллингтона; Бельгия отказывается — там уже достаточно старых якобинцев, Бавария осторожно уклоняется, и даже старый друг, князь Меттерних, держится до странности холодно. Да, конечно, если герцог Отрантский уж очень хочет, он может отправиться в Австрию, там великодушно готовы ничего не иметь против. Но он ни в коем случае не может ехать в Вену, нет, там его присутствие не может понадобиться, и также в Италию — ни при каких условиях. В крайнем случае, в маленьком провинциальном городке, и то не в Нижней Австрии, т. е. близко от Вены, может он поселиться (предполагается хорошее поведение). Да, он не слишком настойчив, старый добрый друг Меттерних, и даже то, что обладающий миллионами герцог Отрантский предлагает вложить все свое состояние в австрийские земли или государственные бумаги, то, что он предлагает отдать

своего сына на службу в королевскую армию, не смягчает сдержанного тона австрийского министра. Когда герцог Отрантский предлагает посетить Вену, он вежливо отклоняет: нет, ему лучше тихо и мирно отправиться в Прагу.

Так, собственно без настоящего приглашения, без чести, скорее терпимый, нежели зазываемый, перебирается Жозеф Фуше из Дрездена в Прагу, чтобы обосноваться там: его четвертое изгнание, последнее и самое жестокое, — началось.

В Праге также все не слишком восхищены прибытием высокого, во всяком случае, круто скатившегося с высоты гостя, в особенности неприязненно относится к внезапному пришельцу потомственная аристократия. Богемские дворяне всё еще читают французские газеты, которые как-раз сейчас изобилуют мстительными и яростными выпадами против «господина» Фуше; они часто и очень подробно рассказывают, как в 1793 году этот якобинец опустошал церкви в Лионе и обчищал кассы в Невере. Все маленькие писаки, которые прежде трепетали перед тяжелым кулаком министра полиции и должны были держать за зубами свое негодование, беспрепятственно плюют теперь на беззащитного. С бешеной скоростью повертывается теперь колесо. Тот, кто в свое время надзирал за полмиром, теперь сам под надзором; все полицейские приемы, рожденные его изобретательным гением, применяются теперь его учениками и подчиненными против своего бывшего учителя. Каждое письмо к герцогу Отрантскому или от него проходит через Черный кабинет, вскрывается и списывается, полицейские агенты подслушивают и докладывают о каждом разговоре, шпионят за его знакомыми, каждый шаг его контролируется, всюду он чувствует за собой надзор, окружение, подслушивание; его собственное искусство, его собственная наука испытываются с жесточайшей искусностью на всеискуснейшем, который их изобрел. Напрасно ищет он защиты от этих унижений. Он пишет королю Людовику XVIII, но тот так же не отвечает свергнутому, как это сделал однажды Фуше по отношению к Наполеону, в день его свержения. Он пишет князю Меттерниху, который, в лучшем случае, отвечает ему через низших канцелярских служащих односложное «да» или «нет». Он должен спокойно сносить все ругательства, ко-

горыми каждый награждает его, он должен перестать наконец шуметь и подавать жалобы. Любимый всеми лишь из страха, он презирается всеми с тех пор, как его больше не боятся: величайший политический игрок сошел со сцены.

Двадцать пять лет ускользал он, гибкий и недостижимый, от рока, который уже так часто угрожающе нависал над ним. Теперь, когда он окончательно повержен на землю, судьба безжалостно обрушивается на низложенного. Не только как политик, а также как частный гражданин переживает Жозеф Фуше в Праге свою Каноссу: ни один романист не мог бы изобрести более остроумного символа его морального унижения, чем маленький эпизод, который произошел там в 1817 году. К трагическому присоединяется теперь ужаснейшая карикатура всякого несчастья — комическое. Унижается не только политик, но и супруг. Можно не сомневаться в том, что не любовь приближала красивую двадцатипятилетнюю аристократку к этому пятидесятилетнему вдовцу с голым и помятым лицом мертвеца. Но этот мало соблазнительный кавалер был в 1815 году вторым богачом Франции, обладателем двадцати миллионов, светлостью, герцогом и министром его христианнейшего величества; миловидной, но обедневшей провинциальной графине улыбалась законная надежда блистать на всех придворных вечерах и в Сен-Жерменском предместьи, среди знатнейших женщин Франции; и, действительно, начало было очень многообещающим: его величество соблаговолил собственноручно подписать ее брачное свидетельство, дворяне и придворные теснились среди поздравителей, пышный дворец в Париже, два имени и княжеский замок в Провансе соперничали в том, кто даст приют своей новой госпоже, герцогине Отрантской. За такое великолепие и за двадцать миллионов честолюбивая женщина может взять в придачу и тощего, лысого, пергаментно-желтого супруга пятидесяти шести лет. Но поторопившаяся графиня променяла свою молодость на золото дьявола, потому что вскоре после медового месяца она открывает, что она не супруга высокоуважаемого государственного министра, а жена самого презренного человека во Франции, изгнанного, лишенного земель, презираемого всем миром «господина Фуше» —

герцог со всем своим великолешием исчез, ей остался лишь желчный, раздражительный, потрепанный старик. Поэтому не кажется очень неожиданным, что в Праге между этой 26-летней женщиной и молодым Тибодо, сыном также изгнанного старого республиканца, завязывается «*amitié amoureuse*»,¹ о которой точно не знают, насколько она была лишь *amitié* и насколько *amoureuse*. Дело доходит до весьма бурных объяснений по этому поводу, Фуше отказывает молодому Тибодо от дома, и это супружеское недоразумение, к несчастью, не остается тайной. Роялистские газеты, подкарауливая каждый повод, чтобы шелкнуть кнутом того человека, перед которым они дрожали многие годы, печатают ехидные заметки о его домашних разочарованиях, распространяют, к восхищению всех читателей, грубую ложь о том, что молодая герцогиня Отрантская в Праге удрала от старого роконосца со своим любовником. Вскоре герцог Отрантский замечает, что, когда он появляется в пражском обществе, дамы с трудом подавляют смехок, и иронические взгляды сравнивают молодую, цветущую женщину с его собственной, далеко не очаровательной фигурой. Старый распространитель слухов, вечный охотник за сплетней и скандалом, чувствует теперь на самом себе, как неприятно быть жертвой злостного уничтожения репутации, и что с таким зловием нельзя бороться, а самое разумное — это бежать от него. Лишь теперь, в несчастье, сознает он всю глубину своего падения, и жизнь в Праге становится для него адом. Он обращается к князю Меттерниху с просьбой разрешить ему покинуть ненавистный город и избрать другой внутри Австрии. Его заставляют ждать. Наконец Меттерних милостиво разрешает отправиться в Линц: туда смиренно скрывается разочарованный и усталый человек от ненависти и насмешек прежде подвластного ему света.

Линц — в Австрии всегда улыбаются, когда кто-нибудь называет этот город, он слишком невольно рифмуется с провинцией. Мещанское население сельского происхождения, корабельные работники, ремесленники, — большей частью бедные люди, лишь несколько домов заселены австрийскими земельными аристократами. Здесь нет ни

¹ Любовная дружба.

великой, славной традиции, как в Праге, ни оперы, ни библиотеки, ни театра, ни шумных аристократических балов, ни празднеств, — настоящий и довольно сонный сельский провинциальный городок, убежище ветеранов. Там поселяется старик с двумя молодыми женщинами, почти одного возраста, одна — его супруга, другая — его дочь. Он снимает великолепный дом, роскошно обставляет его, к большой радости линцовских подрядчиков и дельцов, так как в их стенах до сих пор не жили такие миллионеры. Несколько семей пытаются завязать знакомство с интересными и, хотя бы по деньгам, важными чужестранцами; знать, однако, явно предпочитает урожденную графиню Кастеллян этому мещанскому отродью, «господину» Фуше, которому впервые Наполеон (тоже авантюрист в их глазах) накинул на сухие плечи герцогскую мантию. Чиновничество, в свою очередь, получило тайный приказ из Вены по возможности меньше общаться с ним; так живет он, раньше страстно деятельный, в полной изолированности и почти избегаемый. Один современник в своих мемуарах очень образно описывает его положение на одном из общественных балов: «Было странно видеть, как принимали герцогиню и как никто не интересовался самим Фуше. Он был среднего роста, сильный, но не толстый, лицо у него было уродливо. Он появлялся на танцевальных вечерах постоянно в синем фраке с золотыми пуговицами, белых брюках и белых чулках. Он носил большой австрийский орден Леопольда. Обычно он стоял один у печки и смотрел на танцы. Когда я наблюдал этого раньше всемогущего министра французского королевства, который стоял так одиноко и покинуто и, казалось, радовался, когда какой-нибудь чиновник вступал с ним в разговор или предлагал ему партию в шахматы, — я невольно начал думать о непостоянстве всякой земной власти и могущества».

Единственное чувство поддерживает этого духовно страстного человека до последнего момента его жизни: надежда еще раз, еще когда-нибудь вернуться в сферу высокой политики. Усталый, истасканный, немного тяжеловесный и даже уже потучневший, он не может расстаться с иллюзией, что его, высокозаслуженного, еще раз призовут на его должность, еще раз судьба, как это

часто бывало, вынесет его из мрака и бросит обратно в божественную мировую политическую игру. Непрестанно ведет он тайную переписку со своими друзьями во Франции, все еще придет старое вретено свои тайные сети, но они остаются незамеченными под линцовской крышей. Под вымышленным именем выпускает он «Замечания современника о герцоге Отрантском», анонимную похвалу, в которой живыми, даже лирическими красками описывается его талант, его характер; одновременно, в своих частных письмах, он усиленно сообщает, чтобы напугать своих друзей, что герцог Отрантский пишет свои мемуары, и даже то, что после этого они должны быть изданы у Брокгауза и посвящены Людовику Восемнадцатому: этим он хочет напомнить слишком отважным, что у бывшего министра полиции, Фуше, есть еще стрелы в колчане, и даже смертельно отравленные. Но странно—никто больше не трепещет перед ним, ничто не освобождает его от Линца, никто не думает о том, чтобы призвать его, привезти, никто не нуждается в его совете, в его помощи. И когда во французском парламенте, по другому поводу, возбуждается вопрос об обратном призвании изгнанника, о нем вспоминают уже без ненависти и без интереса. Трех лет, с тех пор как он покинул мировую арену, оказалось достаточным, чтобы забыть великого актера, который подвизался во всех ролях; молчание простирается над ним, как стеклянный катафалк. Для света не существует более герцога Отрантского; просто старый, усталый, сердитый, одинокий и чужой человек угрюмо гуляет по скучным улицам Линца. То там, то здесь подрядчик или делец вскиливо приподнимают шляпу перед согбенным старцем, никто больше не знает его и никто не думает о нем. История, этот адвокат вечности, жесточайшим образом отомстила человеку, который всегда думал лишь о мгновении: она заживо похоронила его.

Так забыт герцог Отрантский, что никто кроме нескольких австрийских полицейских чиновников не обращает внимания, когда наконец в 1819 году Меттерних разрешает герцогу Отрантскому переехать в Триест, и то только потому, что из надежного источника он знает, что эта маленькая милость предназначается для умирающего. Бездельность утомила и принесла больше вреда этому бес-

покойному и жадному к работе человеку,, чем тридцать лет фронтальной службы. Его легкие отказываются служить, он не может переносить сырого климата, и Меттерних дарует ему более солнечное место для смерти — Триест. Там изредка видят сломленного человека, уже тяжелыми шагами направляющегося к мессе и, со сложенными руками, преклоняющего колени перед скамьями: тот самый Жозеф Фуше, который четверть века тому назад собственной рукой разбивал распятия на алтарях, теперь, склонив седую голову, преклоняет колени перед «постыдными свидетельствами фанатизма»; возможно, что его охватила тоска по родным тихим переходам трапезных его старого монастыря. Что-то в нем совершенно изменилось; он, старый сутяга и честолюбец, хочет только мира со всеми своими врагами. Сестры и братья его великого противника Наполеона, также давно низложенные и забытые светом, приходят навещать его; они доверчиво болтают с ним о прошедших временах: все эти посетители удивлены, каким кротким сделала усталость этого человека. Ничто в этой бледной тени не напоминает больше устрашающего и опасного человека, который в течение двух десятилетий управлял светом и похлопывал по плечу величайших людей своего времени. Он хочет лишь мира, мира и спокойной смерти. И действительно, в свои последние часы он примиряется с богом и людьми. Примирение с богом: старый воинствующий атеист, гонитель христианства, разрушитель алтарей, он посылает в последние декабрьские дни за «отвратительным обманщиком» (как он величал его в майские дни своего якобинства), за пастором, и с набожно скрещенными руками принимает соборование. И примирение с людьми: за несколько дней перед смертью приказывает он своему сыну открыть его письменный стол и вынуть все бумаги. Зажигается большой огонь, сотни и тысячи писем бросаются в него, а с ними, вероятно, и страшные мемуары, перед которыми дрожали сотни людей. Была ли это слабость умирающего или последняя поздня доброта, был ли это страх перед потусторонним миром или грубое равнодушие, — во всяком случае, все что могло скомпрометировать других и чем он мог отомстить своим врагам, он, проникшись новым и почти набожным настроением, уничтожил на смертном одре, уста-

дый от людей и от жизни, впервые, вместо славы и власти, стремясь к другому счастью: к забвению.

26 декабря 1820 года эта странная, богатая приключениями жизнь, начавшаяся в гавани Северного моря, угасает в городе Триесте на южном море. И 28 декабря опускают тело беспокойного перебежчика и изгнанника на последний покой. Известие о смерти знаменитого герцога Отрантского не пробуждает большого любопытства в свете. Лишь легкая слабая дымка воспоминания о его имени быстро проносится и почти бесследно исчезает в успокоившемся небе времени.

Но четыре года спустя еще раз вспыхивает беспокойство. Распространяется слух, что устрашающие мемуары должны появиться, и кое у кого из властителей, поспевших слишком отважно обрушиться на низложенного, пробегает дрожь по спине: неужели еще раз заговорят эти опасные уста из могилы? Неужели выплывут на свет из тени полицейской лавочки отложенные в сторону документы, слишком доверчивые письма и компрометирующие доказательства? Но Фуше остается верным себе и в смерти. На мемуары, выпущенные ловким книготорговцем в 1824 году в Париже, так же нельзя полагаться, как на него самого. Даже из могилы не выдает всей правды этот упрямый молчальник, и в холодную землю ревниво уносит он свои тайны, чтобы самому остаться тайной, полумраком и полусветом, никогда вполне не разгаданной фигурой. Но именно потому все снова влечет она к инквизиторскому искусству, которое он сам в совершенстве изучил: по мимолетно-промелькнувшему следу создавать весь извилистый жизненный путь и в переменчивой судьбе раскрывать духовные свойства этого замечательнейшего политика.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие к русскому изданию. <i>Проф. А. Кудрявцева</i> . . .	7
Предисловие автора	13
Глава I. Взлет	17
« II. «Mitrailleur de Lyon»	44
« III. Борьба с Робеспьером	61
« IV. Министр Директории и Консульства	88
« V. Министр императора	124
« VI. Борьба с императором	151
« VII. Вынужденное интермеццо	168
« VIII. Последняя борьба с Наполеоном	184
« IX. Низложен и забыт	216

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
Ленинград, 25, Стремянная, 4, тел. 1-84-61

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ РОМЭНА РОЛЛАНА

С ПРЕДИСЛОВИЯМИ АВТОРА, М. ГОРЬКОГО, А. В. ЛУНАЧАРСКОГО И СТЕФАНА ЦВЕЙГА, ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
ПРОФ. И. С. КОГАНА И АКАД. С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГА.

В ИЗЯЩНЫХ КОЛЕНКОРОВЫХ ТИСНЕННЫХ ЗОЛОТОМ ПЕРЕЦЕЛТАХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СУПЕР-ОБЛОЖКАХ, С ПОРТРЕТАМИ-ФОТОТИПНИЯМИ И ФАКСИМИЛЕ РОМЭНА РОЛЛАНА

«...Для меня Ромэн Роллан уже давно — Толстой Франции».

(Из предисловия М. Горького)

«...Ромэн Роллан представляет собой прекрасное явление в жизни современной Европы».

(Из предисловия А. В. Луначарского)

«...Судить о Роллане по отдельным произведениям было бы ошибкой: его величие именно в их совокупности».

(Из предисловия Стефана Цвейга)

ТОМЫ I, II, III, IV, V И VI ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ И ПРОДАЮТСЯ
ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ



